

ЛАУРЕАТ ДУБЛИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
РОМАН ПЕРЕВЕДЕН НА 32 ЯЗЫКА

«Один из самых оригинальных голосов
латиноамериканской литературы»

Марио Варгас Льюса,
лауреат Нобелевской премии

ЗВУК
ПАДАЮЩИХ
ВЕЩЕЙ

ХУАН ГАБРИЭЛЬ ВАСКЕС

перевод Михаила Кожухова

Хуан Васкес

Звук падающих вещей

Издательство "Livebook/Гаятри"

2011

УДК 82-3
ББК 84(4)

Васкес Х. Г.

Звук падающих вещей / Х. Г. Васкес — Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2011

ISBN 978-5-907428-43-0

В романе Хуана Габриэля Васкеса, самого известного современного писателя Колумбии, «наследника Маркеса», как именует его пресса, есть все, что предполагает качественная литература: острый закрученный сюжет, психологическая драма, тропические цветы и запахи, непростые любовные отношения. Колумбия еще только оправляется от жесткой войны правительства с Пабло Эскобаром. На улицах Боготы еще гибнут люди. Молодой преподаватель права Антонио Яммара становится свидетелем убийства бывшего легчика Рикардо Лаверде и начинает расследование. Сцены романа будоражат воображение: убитый бегемот из зоопарка наркобарона, бывший заключенный, со слезами слушающий магнитофонную кассету, крушение самолета... И все-таки книга рассказывает не только о страхе и боли, но также о дружбе, верности и счастье рождения ребенка. Великий колумбийский роман о преодолении травм прошлого. Книга публикуется в двух вариантах переводов на русский язык, с разными названиями и обложками. Издательство предоставляет читателю уникальную возможность выбрать свой перевод. Эта книга переведена Михаилом Кожуховым, известным журналистом-международником, работавшим в Южной Америке, дипломированным переводчиком с испанского языка, телеведущим, президентом «Клуба путешествий».

УДК 82-3
ББК 84(4)

© Васкес Х. Г., 2011

ISBN 978-5-907428-43-0

© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2011

Содержание

Предисловие	7
I. И, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной	9
II. Он никогда не будет одним из моих мертвых	28
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Хуан Габриэль Васкес

Звук падающих вещей

Juan Gabriel Vasquez
El ruido de las cosas al caer

© Juan Gabriel Vásquez, 2011
© Михаил Кожухов, перевод на русский язык, 2021
© Livebook Publishing, оформление, 2022

Предисловие

Роман колумбийского писателя Хуана Габриэля Васкеса выходит сразу в двух переводах: Михаила Кожухова и Маши Малинской. Можно смело сказать, что это событие – единственное в своем роде. Чтобы издательство заказало сразу два перевода одного романа и одновременно выпустило их в свет – такого российский книжный рынок еще не видел.

Как же это произошло? Честный ответ: почти случайно, благодаря стечению обстоятельств. Такое решение издательства «Лайвбук» не было результатом продуманной стратегии, скорее – смелым и нестандартным выходом из запутанной ситуации. Но нам, читателям, эта случайность дает уникальный шанс увидеть сразу два прочтения яркой и сложной книги. Более того, если повезет – этот прецедент станет поворотным моментом в нашей культуре перевода и чтения зарубежной литературы.

Несмотря на то, что в последние десятилетия появляется много новых переводов популярных книг, отношение к повторным переводам в нашей стране довольно настороженное. В западных странах десятки переводов значимых книг – скорее норма; никому не придет в голову, что книгу перевели заново потому, что предыдущие пятнадцать переводов никуда не годятся. Однако советская эпоха приучила нас к идее, что нужен только один канонический, идеальный перевод, который навсегда заменит и вытеснит оригинал. Единственная проблема этой прекрасной утопии состоит в том, что идеальный перевод невозможен. И все же мечта эта так соблазнительна, что мы продолжаем любой новый перевод воспринимать как результат конфликта: отрицание старого, ниспровержение основ.

Надо признать, что новые переводы действительно зачастую возникают из разного рода юридических неувязок (издательство не может найти правообладателя), меркантильных соображений (издательство не хочет платить деньги переводчику или его наследникам), маркетинговых планов (напишем «новый перевод» и купят больше экземпляров). Проблема для читателя заключается в том, что если авторские права на произведение не истекли, то издаваться будет только один перевод, а другой быстро станет библиографической редкостью, как произошло с набором первых переводов «Гарри Поттера».

А между тем как хорошо было бы, если бы одновременно лежал в магазинах и коллективный перевод, выпущенный впервые издательством «РОСМЭН», и перевод Маши Спивак – так, чтобы каждый читатель мог выбрать то, что ему по душе. Ведь нас совсем не удивляет, когда два или три театра одновременно ставят «Гамлета», и мы можем восхищаться всеми постановками одновременно. Мы готовы слушать музыкальное произведение в интерпретации разных исполнителей, смотреть разные экранизации одной и той же книги, не пытаясь непременно выбрать только один вариант. Пора научиться подходить с той же меркой и к переводам.

Роман «Шум падающих вещей» (вариант Маши Малинской) или «Звук падающих вещей» (вариант Михаила Кожухова) вышел сразу в двух хороших переводах. Два талантливых человека – прекрасно знающих испанский язык и культуру Латинской Америки – одновременно перевели этот роман с любовью и тщанием, каждый из них передает голос автора так, как его услышал. Будучи людьми разных поколений, они следуют несколько разным представлениям о переводе и комментировании текста. Маша Малинская держится чуть ближе к оригиналу, не боится непривычного, в большей мере дает читателю почувствовать «чужестранность» авторского мира. Михаил Кожухов подробнее разъясняет культурные реалии, дарит читателю чуть большую гладкость, естественность, иллюзию близости. Мы вольны выбрать тот перевод, который нам созвучнее. А можем не выбирать и наслаждаться обеими версиями.

*Александра Борисенко,
переводчик, доцент филологического факультета МГУ*

Марианне, исследователю Времени и Пространства

*И стены снов моих пылали, рушась,
Как город, гибнущий в стенаньях.*

Аурелио Артуро, «Город Снов»

Значит, ты тоже явился с неба.

А с какой планеты?

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»¹

¹ Пер. Н. Галь.

І. І, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной

Первого из бегемотов, самца цвета черного жемчуга, в полторы тонны весом, застрелили в середине 2009 года. За два года до этого он сбежал из старого зоопарка Пабло Эскобара² в долине реки Магдалены и, оказавшись на свободе, уничтожал посевы, топтал водопои, навредил ужас на рыбаков, задирали быков-производителей на одной животноводческой асьенде³. Стрелки убили его, попав в голову и сердце (пулями калибра 0,375⁴, потому что кожа у бегемота толстая); они позировали перед камерами с его мертвым телом, бесформенной темной громадиной, похожей на только что упавший метеорит; и там же, укрывшись от жестокого солнца под кроной сейбы⁵, объяснили зевакам, что вес животного не позволит им унести его целиком, и сразу же стали резать его.

Я был у себя дома в Боготе, примерно в двухстах пятидесяти километрах к югу, когда увидел тот снимок размером в полстраницы, напечатанный в одном крупном журнале. Так я узнал, что внутренности зверя похоронили там же, где он упал, а его голову и ноги передали в биологическую лабораторию нашего города. Я также узнал, что бегемот сбежал не один: его сопровождали подруга и их детеныш – во всяком случае так гласила сентиментальная версия газет, не очень-то склонных к точности. Их местонахождение было неизвестно, а поиски сразу же приобрели черты медийной трагедии, как бывает всегда, когда бездушная система преследует невинных. И как раз в один из тех дней, следя за развитием событий по газетным публикациям, я вдруг вспомнил человека, о котором давно позабыл, хотя в свое время мало что интересовало меня так сильно, как тайна его жизни.

В последующие недели воспоминания о Рикардо Лаверде из злой шутки, какие играет с нами память, превратились в верного и преданного призрака, неотступно следовавшего за мной: его силуэт маячил у моей кровати во время сна, поглядывал на меня издали в часы бодрствования. Утренние радиопрограммы и вечерние выпуски новостей, колонки обозревателей, которые читали все, а также блогеры, которых не читал никто, – все задавались вопросом: а нужно ли убивать заблудившихся бегемотов или их достаточно поймать, усыпить и вернуть в Африку. У себя в квартире, вдали от этих споров, следя за ними со смешанным чувством восхищения и отвращения, я все больше и больше думал о Рикардо Лаверде, о тех днях, когда мы встретились, о том, каким коротким было наше знакомство и какими долгими обернулись его последствия.

В прессе и на телеэкранах представители властей перечисляли болезни, которые способны распространять артиодактиль⁶ – да, они использовали это слово – артиодактиль, новое для меня, – а в богатых кварталах Боготы появились футболки с надписью «Save the hippos»⁷.

Сидя дома долгими дождливыми вечерами или прогуливаясь по улице, я думал о том дне, когда умер Рикардо Лаверде, и сам удивлялся точности воспоминаний. Я был поражен тем, с какой легкостью мне удалось воспроизвести сказанное или услышанное тогда; пережитую и давно забытую боль. Я был изумлен тем, с какой готовностью и самоотверженностью мы предаемся вредным упражнениям с памятью, которые в конце концов не сулят ничего хорошего, а

² *Пабло Эскобар* – эксцентричный мультимиллиардер, глава Медельинского наркокартеля, одного из основных поставщиков кокаина в США, был убит в перестрелке с колумбийской полицией в 1993 г.

³ *Асьенда* – поместье, ферма в Латинской Америке.

⁴ Один из самых популярных калибров для охоты на крупную и среднюю дичь.

⁵ *Сейба* – высокое тропическое дерево с раскидистой кроной, распространенное в Латинской Америке.

⁶ Копытное, которое имеет четное количество пальцев на ногах.

⁷ «Спасем бегемотов» (англ.).

только затрудняют нашу жизнь, подобно мешкам с песком, которые спортсмены привязывают к ногам, тренируясь. Постепенно я понял, не без некоторого удивления, что смерть бегемота завершает один давний эпизод моей жизни; это все равно как вернуться домой, чтобы закрыть дверь, оставшуюся по недосмотру открытой.

Так началась эта история. Никто не знает, зачем вообще нужно что-либо вспоминать, какую выгоду или, наоборот, урон это может нам принести, и способны ли наши воспоминания хоть как-то изменить пережитое, но потребность хорошенько вспомнить Рикардо Лаверде стала для меня навязчивой. Я где-то читал, что мужчина должен рассказать историю своей жизни в сорок лет, и этот неумолимый срок как раз наступает: в момент, когда я пишу эти строки, всего несколько недель отделяют меня от этого зловещего юбилея. *История его жизни*. Нет, я расскажу вам историю не всей жизни, а только о нескольких днях из очень давнего прошлого, и сделаю это к тому же с полным осознанием того, что эта история, как предупреждают в детских сказках, уже случалась раньше и повторится вновь.

А уж то, что именно мне довелось рассказать ее, можно считать случайностью.

* * *

В день своей смерти, в самом начале 1996 года, Рикардо Лаверде прогуливался с утра по узким тротуарам Канделарии в центре Боготы, мимо старых домов с крышами, крытыми обожженной глиняной черепицей, и мраморными табличками на стенах, непонятно кому напоминающими о забытых исторических событиях, и около часа пополудни зашел в бильярдную на 14-й улице с намерением сыграть партию-другую с завсегдатаями. Он не выглядел взвинченным или встревоженным: играл тем же кием и на том же столе, что и обычно, – у дальней стены, под телевизором, звук которого был всегда отключен. Он сыграл три партии; не помню, сколько выиграл, а сколько проиграл, потому что в тот день я играл не с ним, а за соседним столом. Но я хорошо помню момент, когда Лаверде заплатил по ставкам, попрощался с другими игроками и направился к двери.

Он проходил между первыми столами, которые обычно пустовали, потому что в той части зала неоновый свет рисует странные тени на шарах из слоновой кости, как вдруг остановился, будто наткнувшись на что-то. Он вернулся к нам, терпеливо подождал, пока я закончу серию из шести или семи ударов, и даже коротко похлопал в ладоши одной из трех моих комбинаций; а потом, когда я записывал на доске, столько заработал очков, подошел ко мне и спросил, не знаю ли я, где можно одолжить магнитофон, чтобы прослушать запись, которую он только что получил.

Я много раз спрашивал себя, что было бы, если бы Рикардо Лаверде обратился не ко мне, а к любому другому игроку. Но в этом вопросе нет никакого смысла, как и во многих других, которые мы задаем себе о прошлом. У Лаверде были веские причины выбрать меня. Ничто не может изменить это обстоятельство, как ничто не изменит того, что произошло дальше.

Я встретил его в конце прошлого года, за пару недель до Рождества. Мне вот-вот должно было исполниться двадцать шесть лет, за два года до этого я получил диплом адвоката, и, хотя по-прежнему мало что знал о реальном мире, в теоретическом мире юриспруденции секретов для меня уже не было. С отличием закончив университет, – до сих пор удивляюсь, как мне вообще удалось защитить диплом о безумии Гамлета как смягчающем обстоятельстве, освобождающем его от уголовной ответственности, не говоря уже о том, чтобы получить на такую работу хорошие отзывы, – я стал самым молодым преподавателем в истории нашей кафедры. Во всяком случае, так утверждали старшие коллеги, когда вручали диплом, и я был убежден, что единственно возможная перспектива моей жизни – преподавать введение в правоведение, обучать основам профессии перепуганных детей, только что закончивших колледж. Там, стоя на деревянном подиуме перед рядами тупых растерянных юнцов и впечатлительных девушек

с широко распахнутыми глазами, я получил свои первые уроки на тему природы власти. От этих первокурсников меня отделяли лет восемь, но между нами лежала пропасть из власти и знаний, которыми обладал я и которых у них, только что вступивших в жизнь, не было совершенно. Они восхищались мной, немного побаивались, и я понял, что к этому страху и к этому восхищению быстро привыкаешь, как к наркотику. Я рассказывал своим студентам о спелеологах, которые застряли в пещере и через несколько дней начали есть друг друга, чтобы выжить: поможет им право или нет? Я рассказывал им о старом Шейлоке⁸, о фунте мяса, который тот собирался вырезать из тела должника; о хитрой Порции, сумевшей помешать ему с помощью адвокатских уловок: было весело смотреть, как они нащупывают суть, вопят и путаются в нелепых аргументах, пытаюсь найти в клубке этой истории крупницы Закона и Справедливости.

После этих ученых дискуссий я шел в бильярдную на 14-й улице, прокуренное помещение с низким потолком, где проходила совсем другая жизнь, в ней не было ни доктрин, ни юриспруденции. Там, с ерундовыми ставками и кофе с бренди, заканчивался мой день, иногда в компании одного или двух коллег, иногда со студентками, которые после нескольких стаканчиков могли оказаться в моей постели.

Я жил неподалеку в квартире на десятом этаже, где всегда было прохладно, зато открывался прекрасный вид на город, оштетинившийся кирпичом и бетоном; моя кровать была всегда открыта для обсуждений трактата Чезаре Беккариа⁹ о преступлениях и наказаниях либо трудного абзаца в работах Боденхеймера¹⁰ или даже простейших способов получить на экзамене высокую оценку. Теперь мне кажется, что та жизнь принадлежала кому-то другому и была полна возможностей. Возможностями, как я обнаружил позже, воспользовался кто-то другой: они незаметно исчезли, как отступающий отлив, а я остался с тем, что у меня есть сейчас.

Как раз тогда заканчивались самые жестокие времена в новейшей истории моего города. Я сейчас не о жестокости дешевой уличной поножовщины и шальных перестрелок, не о разборках наркодилеров, а о том, что выходит за рамки мелких обид и мести маленьких людей, – о насилии, главные герои которого коллективны и пишутся с большой буквы: Государство, Картель, Армия, Фронт. Мы, жители Боготы, привыкли к этому насилию, во многом потому, что новости о нем пресса доносила до нас со зловещей регулярностью; как раз в тот день в новостях на телеэкранах появились кадры последнего преступления. Сначала мы увидели журналалиста, который зачитал новость у входа в клинику, затем – развороченный «мерседес»: через выбитое окно виднелось заднее сиденье, осколки стекла, пятна засохшей крови; наконец, когда движение за всеми столами в бильярдной прекратилось, воцарилась тишина, кто-то крикнул, чтобы в телевизоре включили звук, – мы увидели черно-белое лицо жертвы, а под ним даты рождения и только что случившейся смерти.

Это был консервативный политик Альваро Гомес, сын одного из самых противоречивых президентов столетия и сам неоднократно кандидат в президенты. Никто не спрашивал, почему убили именно его или кто это сделал, такие вопросы давно потеряли всякий смысл в нашем городе или задавались риторически, не предполагали ответа, как единственный способ отреагировать на новую пощечину. В тот момент я не думал об этом, но такие преступления (зловещие убийства, как их называла пресса: я быстро усвоил значение этого выражения) структурировали мою жизнь и придавали ей ритм, как неожиданные визиты дальнего родственника.

⁸ Речь о пьесе У. Шекспира «Венецианский купец».

⁹ Чезаре Беккариа (1738–1794) – итальянский философ, публицист, юрист. Выражал гуманистические взгляды на систему правосудия и ратовал за отмену смертной казни.

¹⁰ Эдгар Боденхеймер (1908–1991) – выдающийся американский юрист немецкого происхождения.

Мне было четырнадцать лет, когда в 1984-м Пабло Эскобар убил или приказал убить своего самого выдающегося преследователя, министра юстиции Родриго Лару Бонилью (два киллера на мотоцикле, поворот на 127-й улице). Мне исполнилось шестнадцать, когда Эскобар убил или приказал убить Гильермо Кано, главного редактора газеты «Эль Эспектадор» (в нескольких метрах от офиса газеты убийца выстрелил ему в грудь восемь раз). Мне было девятнадцать и я уже считался взрослым, хотя еще и не голосовал, когда погиб Луис Карлос Галан, кандидат в президенты страны. Его убийство отличалось от прочих, или нам казалось, что отличалось, потому что мы видели его в прямом эфире: репортаж о демонстрации, приветствующей Галана, затем автоматные очереди, его тело беззвучно падает на деревянный помост либо звук падения тонет в суматохе толпы. Вскоре после этого Эскобар взорвал самолет компании «Авианка» – это был «Боинг-727–21», он взорвался в воздухе где-то между Боготой и Кали, – чтобы убить политика, которого даже не было на борту.

Итак, все бильярдисты восприняли очередное преступление с сожалением и покорностью, которые уже стали своего рода особенностью национального характера, приметой нашего времени, а затем мы вернулись к игре. Все, кроме одного. Его внимание было приковано к экрану, где уже сменилась картинка и мелькали кадры следующей новости: заброшенная арена для боя быков, заросшая кустами до самых флагштоков, навес, где ржавело несколько старых автомобилей, гигантский тираннозавр, напоминавший старый и грустный манекен: его тело разваливалось на куски и обнажало металлический каркас.

Это была легендарная асьенда «Неаполь» Пабло Эскобара, которая когда-то стала штаб-квартирой его империи, а потом оказалась брошенной на произвол судьбы после смерти «капо»¹¹ в 1993 году. В новостях как раз и говорилось о ее запустении; о собственности, конфискованной у наркоторговцев, о миллионах долларов, потраченных властями, не знавшими, как ею распорядиться, обо всем, что можно было бы сделать, но что так и не было сделано с этими сказочными активами. И именно тогда один из игроков за ближайшим к телевизору столиком, на которого до сих пор никто и внимания не обращал, заговорил будто сам с собой, громко и непосредственно, как обычно делают те, кто, долго живя в одиночестве, забывают о самой возможности быть услышанными.

– Интересно, что они собираются делать с животными, – сказал он. – Бедняги умирают от голода, и всем плевать.

Кто-то спросил, каких животных он имел в виду. Мужчина только сказал:

– Они же ни в чем не виноваты.

Это были первые слова Рикардо Лаверде, которые я услышал. Больше он ничего не добавил: например, каких животных имел в виду, откуда он знал, что они голодают. Но его никто об этом и не спросил, потому что все мы были достаточно взрослыми и помнили о лучших временах асьенды «Неаполь». Зоопарк был легендарным местом, которое, благодаря стараниям эксцентричного наркобарона, предлагало посетителям зрелище, в этих широтах невиданное. Я попал туда, когда мне было двенадцать, во время рождественских каникул; побывал там, конечно, втайне от родителей: сама мысль о том, что их сын ступит на территорию общепризнанного мафиози, показалась бы им возмутительной, и речи быть не могло о том, чтобы сходить туда развлечься с их ведома. Но и я не мог упустить возможность увидеть то, о чем говорили все.

Меня пригласил друг съездить туда с их семейством. Однажды в выходной мы встали пораньше, потому что от Боготы до Пуэрто-Триунфо добираться на машине часов шесть; и, проехав через каменные ворота (название асьенды было написано на них жирными синими буквами), мы провели полдня среди бенгальских тигров и амазонских ара, карликовых лошадей и бабочек размером с ладонь, там была даже пара индийских носорогов, которые, по сло-

¹¹ Босс, глава мафии (*исп.*).

вам парнишки в камуфляжном жилете, говорившего с сильным деревенским акцентом, только что прибыли в зоопарк. Были там, конечно, и бегемоты, ни один из которых еще не сбежал в те славные дни. Итак, я хорошо знал, о каких животных говорил этот человек, но не предполагал, что вспомню его слова почти четырнадцать лет спустя. Понятно, я задумался обо всем этом только потом, а тогда, за бильярдом, Рикардо Лаверде был лишь одним из многих, кто с изумлением следил за взлетами и падениями одного из самых известных колумбийцев всех времен, и я не обратил на него особого внимания.

Что я помню о том дне, это уж точно, так это то, что в облике незнакомца не было ничего настораживающего: он был настолько худ, что казался выше, чем был на самом деле, и нужно было увидеть его у стола с бильярдным кием, чтобы понять, что его рост едва достигал метра семидесяти. Его редкие волосы крысиного цвета, сухая кожа и длинные, всегда грязные ногти создавали впечатление болезненности и запущенности, как бывает запущен пустырь. Ему только что исполнилось сорок восемь, но он выглядел намного старше. Он говорил с усилием, словно ему не хватало воздуха; его руки так дрожали, что синий кончик кия всегда плясал перед шаром, и было почти чудом, что шар частенько попадал в лузу. Все в нем казалось уставшим. Однажды, когда Лаверде ушел, один из его товарищей по игре (его ровесник, который двигался лучше, который дышал лучше, который, несомненно, еще жив и даже, возможно, читает эти воспоминания) открыл мне причину, хотя я ни о чем не спрашивал.

– Это все из-за тюрьмы, – сказал он, коротко блеснув золотым зубом. – Тюрьма старит людей.

– Так он был в тюрьме?

– Только что вышел. Провел там лет двадцать, говорят.

– А за что?

– Этого я не знаю, – ответил мужчина. – Но что-то сделал, должно быть, верно? Ни за что так надолго не сажают.

Я, конечно же, поверил ему, у меня не было никаких оснований считать, что все могло быть и по-другому, не было причин сомневаться в первой попавшейся версии, которую кто-то рассказал мне о жизни Рикардо Лаверде. Я подумал, что никогда раньше не был знаком с бывшим заключенным, и мне стал любопытен Лаверде. Любой, кто отсидел такой долгий срок, всегда производит впечатление на молодежь. Я подсчитал, что едва научился ходить, когда Лаверде попал в тюрьму, да и кого не тронет мысль о том, что ты вырос, получил образование, открыл для себя секс и, возможно, смерть (например, домашнего питомца, а затем, скажем, бабушки), у тебя были любовницы, ты пережил болезненные разрывы отношений, познал удовольствие и раскаяние от принятых тобой решений, обнаружил у себя способность причинять боль, наслаждаться этим или чувствовать свою вину, – и все это же время некто прожил без каких-либо открытий и не получил никаких новых знаний, что само по себе тяжкий приговор. Прожитая, выстраданная тобой жизнь, ускользающая из твоих рук, а рядом – чья-то другая, никак не прожитая жизнь.

Мы незаметно сблизилась. Сначала это происходило случайно: например, я аплодировал какому-то его удару – он ловко проводил бортовые шары – а затем приглашал его поиграть за моим столом или спрашивал разрешение сыграть за его. Он принял меня неохотно, как опытный игрок ученика, хотя играл я лучше, и со мной Лаверде наконец-то перестал проигрывать. Но потом я обнаружил, что проигрыш не имел для него большого значения: деньги, которые он клал на изумрудную ткань для ставок, две-три потертые мятые купюры, были частью его повседневных расходов, некий пассив, предусмотренный его экономикой.

Бильярд был для Лаверде не хобби и даже не состязанием, а единственным способом принадлежать хоть к какому-то обществу: шум сталкивающихся шаров, щелчки деревянных костяшек на счетах, скрип голубого мела, которыми натирают нашлапки из старой кожи на концевниках кия, – в этом и была вся его общественная жизнь. За пределами бильярдной,

без кия в руке, у Лаверде не было возможности даже просто поболтать с кем-нибудь, не говоря уж о большем.

– Иногда я думаю, – сказал он мне в тот единственный раз, когда мы беседовали хоть сколько-нибудь серьезно, – что я никогда никому не смотрел в глаза.

Конечно, это было преувеличением, но я не уверен, что он преувеличивал намеренно. В конце концов, он не смотрел мне в глаза, когда произнес это.

Теперь, когда прошло так много лет, кажется просто невероятным, что я не придавал значения его словам, но это сейчас, когда я знаю все, чего не знал тогда. (И в то же время я говорю себе, что мы паршивые судьи настоящего, возможно, потому что настоящего на самом-то деле нет: все – память, и даже эта фраза, которую я только что написал, а вы, читатель, прочли, – уже тоже стала воспоминанием.)

Год заканчивался; наступало время экзаменов, лекции и семинары вести было не нужно; игра в бильярд заполняла мои дни, в какой-то степени придавая им форму и смысл.

– Ух ты, – говорил Рикардо Лаверде каждый раз, когда я входил. – Вот повезло, я уже собирался уходить.

Что-то в наших встречах вдруг изменилось: я понял это в тот вечер, когда Лаверде не простился со мной, как обычно, через стол, приложив по-солдатски кулак ко лбу, оставляя меня с кием в руке, но дождался, пока я расплачусь за наши напитки – четыре кофе с бренди и кока-кола напоследок – вышел вместе со мной из бильярдной и зашагал рядом.

Он прошел со мной до площади Росарио среди запахов выхлопных труб, жареной арепы¹² и открытых дождевых люков; а когда мы дошли до пандуса, который спускается к темному входу в подземную автостоянку, едва хлопнул меня по плечу тонкой рукой, и это было больше похоже на ласку, чем на жест прощания, и сказал:

– Ладно, завтра увидимся. Мне кое-что нужно сделать.

Я видел, как он обогнул стайку уличных торговцев изумрудами, проследовал по пешеходной улочке, ведущей к 7-й улице, а затем повернул за угол и скрылся из виду.

Улицы уже начали украшать к Рождеству: все эти северные гирлянды и леденцы, надписи по-английски, силуэты снежинок в городе, где никогда не было снега и где декабрь, кстати сказать, самое солнечное время. Но выключенная иллюминация днем ничего не украшает: она только мешает обзору и даже делает город грязнее. Провода над нашими головами, переброшенные через улицы, напоминали подвесные мосты, а на площади Боливара они взбирались, как выюны, по электрическим столбам, по ионическим колоннам Капитолия, по стенам Кафедрального собора. У голубей, конечно же, теперь было больше проводов, чтобы посидеть отдохнуть, а продавцы жареной кукурузы едва успевали обслуживать туристов, равно как и уличные фотографы: пегие старики в пончо и фетровых шляпах пасли свои жертвы, как коров, а затем, фотографируя их, накрывались черной накидкой не потому, что этого требовала камера, а потому, что этого только и ждали клиенты. Эти фотографы были пережитком других времен, когда не каждый мог снять собственный портрет, а идея купить на улице фото, сделанное кем-то (зачастую без твоего ведома), еще не казалась полным абсурдом.

У каждого жителя Боготы определенного возраста есть такой уличный снимок, большинство из них сделано на 7-й улице, раньше она называлась Калле-Реаль-дель-Комерсио, королеве всех улиц города; мое поколение выросло, листая такие фотографии в семейных альбомах, все эти мужчины в костюмах-тройках, женщины в перчатках и с зонтиками, люди из другого времени, когда Богота была более холодной, дождливой и домашней, но не менее жесткой. В моем архиве есть фотография моего деда пятидесятых годов и снимок отца, сделанный пятнадцать лет спустя. А вот той, что Рикардо Лаверде сделал в тот день, нет, хотя изображение так ясно сохранилось в моей памяти, что я мог бы нарисовать его в точности, если бы у меня

¹² *Арена* – лепешка из перемолотых зерен кукурузы, популярная в Колумбии и соседних странах.

был хоть какой-то талант к рисованию. Но у меня его нет. Это один из тех талантов, которых у меня нет.

Итак, это и было делом, о котором упомянул Лаверде. Простившись со мной, он направился на площадь Боливара и запечатлелся на одном из тех намеренно старомодных портретов, а на следующий день появился в бильярдной с результатом в руке: подписанным фотографом снимком в цветах сепии, на котором был запечатлен человек менее грустный и молчаливый, чем обычно, и, можно сказать, даже довольный, если общение с ним на протяжении последних нескольких месяцев не делает эту оценку слишком дерзкой.

Бильярдный стол еще был накрыт черным пластиковым чехлом, на него Лаверде и положил снимок и смотрел на него с восхищением: безупречная прическа, на костюме ни единой морщинки, правая рука вытянута, и два голубя что-то клюют с его правой ладони; на заднем плане можно было разглядеть любопытствующую пару, оба с рюкзаками и в сандалиях, а вдалеке, совсем вдалеке, на одной линии с кукурузным лотком, увеличенным перспективой, Дворец правосудия.

– Хорошо получилось, – сказал я. – Это вчера?

– Да, вчера, – ответил он и без предисловий добавил: – Приезжает моя жена.

Он не сказал, что фото – подарок. И не объяснил, зачем такой необычный подарок его жене. Ничего не сказал и о годах, проведенных в тюрьме, хотя было ясно, что это обстоятельство кружилось над всей его жизнью, как стервятник над умирающей собакой.

В любом случае, Рикардо Лаверде вел себя так, словно никто в бильярдной не знал о его прошлом; в тот момент я почувствовал, что это поддерживает хрупкое равновесие в наших отношениях, и предпочел сохранить его.

– Как это приезжает? – спросил я. – Откуда?

– Она из Соединенных Штатов, там живет ее семья. Моя жена... скажем, она в гостях. – А потом добавил: – Хорошее фото? Вам нравится?

– Отличное, мне кажется, – сказал я с невольной снисходительностью. – Вы на нем выглядите очень элегантно, Рикардо.

– Очень элегантно, – повторил он.

– Так вы женаты на американке, – заметил я.

– Представьте себе.

– И она приезжает на Рождество?

– Надеюсь, – сказал Лаверде. – Надеюсь, что да.

– Почему «надеюсь», это еще не точно?

– Сначала я должен ее убедить. Это долгая история, не просите меня объяснять.

Лаверде снял черный чехол со стола, но не одним махом, как это делали другие бильярдисты, а сложил его в несколько раз, аккуратно, почти нежно, как складывают флаг на похоронах государственного значения.

Мы приступили к игре. Он прилег на стол, снова выпрямился, подыскивая лучший угол для удара, но после всех этих приготовлений в конечном счете ударил не по тому шару.

– Черт, – сказал он, – простите.

Он подошел к доске, спросил, сколько очков заработал, отметил их кончиком кия (и случайно задел белую стену, оставив длинную синюю черту рядом с другими такими же, скопившимися с течением времени).

– Извините, – повторил он. Его мысли, казалось, были где-то далеко: его движения и взгляд, следивший за шарами из слоновой кости, которые медленно занимали новые места на сукне, были движениями и взглядом человека, которого здесь не было, своего рода призрака. Я подумал, что, возможно, Лаверде и его жена разведены, но затем мне, как прозрение, пришла в голову другая, более интересная мысль: а может, его жена не знает, что Лаверде уже на свободе. Так, между ударами по шарам, я представлял себе человека, выходящего из тюрьмы в Боготе, –

дело в моем воображении происходило в Окружной тюрьме, последней из тех, что я посетил при изучении уголовного права, – и держащего это в тайне, чтобы сделать кому-то сюрприз, чтобы увидеть на лице любимой женщины выражение удивления и любви, которое все мы хотели бы увидеть, а может, даже спровоцировали хитроумными уловками хоть раз в жизни.

– И как зовут вашу жену? – спросил я.

– Елена, – ответил он.

– Елена де Лаверде, – предположил я, как бы мысленно взвешивая имя и продлевая его фамилией мужа, как делает в Колумбии почти каждый в нашем поколении.

– Нет, – поправил Рикардо Лаверде, – Елена Фритц. Мы не хотели, чтобы она носила мою фамилию. Понимаете, она современная женщина.

– Это считается современным?

– Ну, тогда считалось. Не менять фамилию. И, поскольку она американка, никто не был в обиде. – И добавил с внезапной или нарочитой легкостью: – Ну что, не выпить ли нам по стаканчику?

Так за дешевым белым ромом, оставлявшим послевкусие медицинского спирта, прошел вечер. К пяти часам бильярд перестал нас занимать, мы оставили кии на столе, положили три шара в картонный прямоугольник и уселись на деревянные стулья как зрители, болельщики или уставшие игроки, каждый со своим высоким стаканом рома в руке, потряхивая их время от времени, чтобы лед хорошо перемешался, и оставляя на стекле отпечатки потных пальцев, испачканных мелом. Оттуда нам был виден и бар, и вход в туалет, и угол, где висел телевизор, и мы даже могли комментировать игру за парой столов. За одним из них четыре незнакомых игрока в шелковых перчатках и с разборными, принесенными с собой киями ставили такие суммы, какие нам вдвоем не доводилось проиграть и за месяц. Как раз тогда, когда мы сидели рядом, Рикардо Лаверде и признался, что никогда никому не смотрел в глаза. Тогда же меня впервые что-то насторожило в нем: какое-то явное несоответствие между его дикцией, его всегда элегантными манерами и его неуклюжим внешним видом, его явной нуждой, самим его присутствием там, где пытаются обрести хоть какую-то стабильность люди, которые по тем или иным причинам ее лишились.

– Как странно, Рикардо, – сказал я. – Я никогда не спрашивал, чем вы занимаетесь.

– Это правда, никогда, – заметил Лаверде. – Я тоже вас не спрашивал. Но это потому, что я решил, что вы преподаватель, как и все здесь, в центре же полно университетов. Вы преподаватель, Яммара?

– Да, – ответил я. – Преподаю право.

– О, это хорошо, – сказал Лаверде с кривой улыбкой. – В этой стране как раз не хватает адвокатов.

Казалось, он собирался добавить что-то еще. Но промолчал.

– Но вы мне не ответили, – настаивал я. – Чем вы-то занимаетесь, чем зарабатываете?

Он молчал. Что-то происходило в его голове в эту пару секунд: только теперь, со временем, я понимаю, что. Он взвешивал, прикидывал, сомневался.

– Я пилот, – сказал Лаверде тоном, которого я никогда раньше не слышал. – Точнее, был пилотом. Можно сказать, пилот в отставке.

– Пилот чего?

– Всего, что летает.

– Это понятно, но все же? Пассажирские самолеты? Вертолеты наблюдения? Я, признаться, не большой знаток...

– Послушайте, Яммара, – прервал он меня спокойно, но твердо. – Я не рассказываю о своей жизни первому встречному. Не путайте бильярд с дружбой, сделайте одолжение.

Я мог бы обидеться, но не стал: в его словах за внезапной и, казалось бы, беспричинной агрессией крылась мольба. После грубого ответа последовали жесты сожаления и примирения,

так ребенок отчаянно просит простить его выходку, и я простил ему грубость, как прощают проступок ребенку.

То и дело к нам подходил дон Хосе, управляющий: лысый толстяк в фартуке мясника наполнял наши стаканы льдом и ромом, а потом сразу же возвращался на свою алюминиевую скамейку у бара и снова утыкался в кроссворд в журнале «Эль Эспасио». Я думал о Елене де Лаверде, жене моего собеседника. Однажды сколько-то лет назад жизнь Рикардо изменилась, и он угодил за решетку. Но за что? И разве жена не навещала его все эти годы? И как случилось, что пилот проводит дни и просаживает деньги в бильярдной в центре Боготы? Возможно, тогда впервые мне пришло в голову, интуитивно и как-то само собой, то, что потом не раз приходило на ум, воплощалось в других словах, а иногда даже и не требовало слов: Рикардо не всегда был таким. Раньше он был совсем другим человеком.

Уже стемнело, когда мы вышли на улицу. Я не помню, сколько было выпито в бильярдной, но знаю, что ром ударил нам в голову и тротуары Ла-Канделарии стали такими узкими, что по ним едва можно было пройти. Люди выходили из контор, спешили домой, или в магазины, чтобы купить рождественские подарки, или сбивались в кучки на углах, поджидая автобуса.

Стоило нам выйти, и Рикардо Лаверде тут же налетел на даму в оранжевом костюме (во всяком случае, он выглядел оранжевым при желтом свете фонарей). «Смотри, куда прешь, дурень», – сказала женщина, и мне стало ясно, что оставить его одного в таком состоянии было безответственно и даже рискованно. Я предложил проводить его, и он согласился или по крайней мере не возражал.

Через несколько минут мы миновали закрытые двери церкви Ла-Бордадита, а еще через мгновение оставили позади толпу и словно оказались в другом городе, где действовал комендантский час. Задворки Канделарии – место вне времени: только на некоторых улицах в этом районе Боготы можно представить, какой была жизнь столетие назад. Вот тогда-то, во время этой прогулки, Лаверде впервые и заговорил со мной как с другом. Сначала я подумал, что он пытается помириться после его недавней беспричинной грубости (алкоголь частенько вызывает такие раскаяния, эти признания вины); но потом мне показалось без всяких на то оснований, что было что-то еще, что он срочно решил мне сообщить и никак не мог отложить на потом. Я, понятно, наострил уши, как делают все, когда пьяницы начинают рассказывать свои пьяные истории.

– Эта женщина – все, что у меня есть, – сказал он.

– Елена? – уточнил я. – Ваша жена?

– Она все, что у меня есть. Не спрашивайте меня о подробностях, Яммара, о своих ошибках трудно рассказывать. Я ошибался, как и все. Больше того, я облажался. Здорово облажался. Вы еще очень молоды, Яммара, так молоды, что, возможно, вы все еще девственник в смысле ошибок. Я не о том, что вы, возможно, разбили сердце какой-нибудь девушке или, наоборот, увели ее у лучшего друга, это детские забавы. Я имею в виду настоящие ошибки, Яммара, вы едва ли знаете, что это такое. И лучше не знать. Пользуйтесь этим преимуществом, Яммара, пользуйтесь, пока можете: человек счастлив, пока не облажается так, что уже нет никакой возможности все вернуть. Вот это я и собираюсь исправить. Елена приедет, и я снова попытаюсь вернуть все, как было. Она – любовь всей моей жизни. Мы расстались, не хотели расставаться, но пришлось. Жизнь разлучила нас, она иногда делает такое. Я облажался. Облажался, и мы расстались. Но важно не облажаться снова. Яммара, слушайте меня внимательно: можно облажаться, но важно знать, как все исправить. Пусть даже прошло время, может быть, даже годы, но никогда не поздно починить то, что сломалось. Я так и сделаю. Елена приедет, и я все исправлю, ни одна ошибка не навсегда. Все это было давным-давно. Думаю, вы тогда даже не родились. Допустим, в семидесятом году или около того. Когда вы родились?

– Как раз в семидесятом, – ответил я. – Точно.

– Уверены?

– Еще бы.

– Не в семьдесят первом?

– Нет, в семидесятом.

– Ну вот. Тогда много всего произошло. И в последующие годы тоже, конечно, но особенно тогда. Тот год изменил всю нашу жизнь. Я позволил им разлучить нас, но важно не это, Яммара, слушайте меня внимательно, важно не это, а то, что произойдет сейчас. Елена придет, и вот что я сделаю: я все почию. Это ведь нетрудно, правда? Вы же знаете тех, кому удавалось все поправить на полдороге? Таких много, верно? Что ж, я и собираюсь это сделать. Вряд ли это так уж трудно.

Вот что сказал мне Рикардо Лаверде. Когда мы добрались до его улицы, вокруг стало безлюдно, и, сами не заметив, мы пошли посередине дороги. Запряженная изможденным мулом тележка с ворохом старых газет проехала мимо, и человеку, который держал поводья (ими служили завязанные узлами веревки), пришлось присвистнуть, чтобы не наехать на нас.

Я помню запах дерьма, хотя и не помню, чтобы животное опорожнилось в тот самый момент, а еще – взгляд ребенка, который сидел сзади на деревянных досках тележки и болтал ногами. А потом я протянул руку, чтобы попрощаться с Лаверде, но она повисла в воздухе, немного напоминая руку с голубями на фотографии, сделанной на площади Боливара, потому что Лаверде повернулся ко мне спиной и, отпирая ворота допотопным ключом, сказал:

– Только не говорите мне, что вы уходите. Заходите и давайте по последнему глоточку, молодой человек, раз уж мы так славно поговорили.

– Но мне пора, Рикардо.

– Пора бывает только умирать, – сказал он немного неуклюже. – Один глоток, не больше, клянусь. Раз уж вы заплатили за билет в это богом забытое место.

Мы стояли напротив старого одноэтажного дома колониальных времен, не из тех, о каких заботятся как о культурном или историческом достоянии, но обветшалого и грустного, одного из тех владений, которые передаются по наследству из поколения в поколение, по мере того, как семья беднеет, пока дело не доходит до последнего в роду, и он продает дом, чтобы выбраться из долгов, или сдает внаем приюту для престарелых или борделю. Лаверде стоял на пороге в том шатком равновесии, которое удается установить только крепко выпившему, и одной ногой придерживал дверь открытой. За ним виднелся коридор с полом, выложенным кирпичом, а затем патио, самое маленькое, какое я когда-либо видел. В центре патио не было традиционного фонтана, вместо него висели веревки для сушки белья, а побеленные стены коридора украшали календари с обнаженными женщинами.

Я бывал раньше в похожих домах и попытался угадать, куда ведет темный коридор: представил комнаты с зелеными деревянными дверями, которые запираются на всякий замок, как сарай; наверное, в одном из таких съемных «сараев» размером три на два метра и жил Рикардо Лаверде. Но было уже поздно, мне предстояло еще сделать конспект лекций на завтра (требование невыносимой университетской бюрократии, у которой не бывает передышек), да и возвращаться по этому району в поздний час значило искушать судьбу.

Лаверде был пьян и готов откровенничать, чего я от него никак не ожидал, и тут я понял, что одно дело поинтересоваться, какие самолеты он пилотировал, но совсем другое – оказаться в его крошечной комнатке и слушать, как он будет плакать о потерянной любви.

Мне никогда не удавалось легко сходитьсь с людьми, тем более мужчинами. Все, что Лаверде собирался мне рассказать, подумал я тогда, он мог бы рассказать и на следующий день, на улице или в каком-нибудь публичном месте, без панибратства и слез на моем плече, не требуя от меня легкомысленной мужской солидарности. Завтра миру не конец, думал я. И Лаверде свою биографию не забудет. Поэтому сам не слишком удивился, когда сказал:

– Послушайте, Рикардо. Давайте в следующий раз.

Он задумался на мгновение. И произнес:

– Ладно.

Если он и был разочарован, то этого не показал. Повернувшись ко мне спиной и закрывая за собой дверь, буркнул:

– Как-нибудь в другой раз.

Конечно, если бы я знал тогда все, что знаю сейчас, если бы мог предвидеть, как Рикардо Лаверде изменит мою жизнь, я бы дважды подумал. С тех пор я часто спрашивал себя, что бы произошло, если бы я принял его приглашение, что рассказал бы мне Лаверде, если бы я зашел к нему пропустить последний стаканчик, который никогда не бывает последним, как бы это изменило все, что произошло дальше. Но что толку в этих вопросах. И нет навязчивой идеи опаснее, чем гадать и строить предположения о дорогах, которые мы не выбирали.

* * *

Мы долго не виделись. В последующие дни я пару раз заходил в бильярдную, но не застал его. Затем, когда мне пришло в голову, что можно навестить его дома, оказалось, что он уехал. Никто не знал, куда и с кем. Но однажды Лаверде расплатился с долгами за игру и выпивку, объявил, что уезжает в отпуск, и на следующий день пропал, как удача у заядлого игрока. Так что и я перестал заходить в бильярдную, в отсутствие Лаверде место внезапно потеряло для меня всякий интерес.

Университет закрылся на каникулы, вся эта суета вокруг кафедры и экзаменов прекратилась, аудитории опустели (в комнатах и кабинетах ни голосов, ни шума). Как раз в эти дни Аура Родригес, моя бывшая студентка, с которой мы встречались несколько месяцев – по возможности тайно, во всяком случае, с осторожностью, – сказала мне, что беременна.

Аура Родригес. В хаосе ее полного имени звучало еще что-то типа Алхуре и Хадад, а ее ливанские корни читались в темных глазах, в густых бровях, которые сходились мостиком на переносице под нешироким лбом, – набор, который произвел бы впечатление и на кого-то менее влюбчивого и общительного. Ее легкая улыбка, ее дерзкие внимательные глаза обезоруживали и украшали лицо, которое при всей красоте (а оно было очень, очень красивым), могло стать жестким и даже враждебным, когда она хмурилась, чуть приоткрывая губы в моменты задумчивости или гнева.

Аура мне нравилась, хотя ее жизнь была совсем не похожа на мою, начиная с детства, вырванного с корнем: ее родители, оба с Карибских островов, приехали в Боготу с малышкой на руках, но так и не смогли почувствовать себя своими в этом городе, где полно закулисных интриг и прохиндеев, а спустя несколько лет нашли работу в Санто-Доминго, затем переехали в Мексику, потом ненадолго в Сантьяго-де-Чили, так что Аура покинула Боготу еще маленькой и ее юность напоминала одновременно бродячий цирк и неоконченную симфонию.

Их семья вернулась в Боготу в начале 1994 года, через несколько недель после того, как застрелили Пабло Эскобара; трудное десятилетие закончилось, и Аура так и проживет жизнь, не имея понятия о том, что видели и слышали мы, остававшиеся здесь. Когда же девушка, лишенная корней, пришла на вступительное собеседование в университете, декан задал ей тот же вопрос, который задавал всем абитуриентам: почему именно право? Аура лепетала что-то не очень вразумительное, пока не назвала причину, имевшую отношение скорее к ее недавнему прошлому, чем к будущему: «Чтобы иметь возможность спокойно жить на одном месте, никуда не переезжая».

Адвокаты могут работать только там, где они учились, сказала Аура, и эта стабильность казалась ей необходимой. Она не упомянула тогда, что ее родители уже планировали следующую командировку, и Аура решила, что не поедет с ними.

Так она осталась одна в Боготе, разделив с двумя соседками из Барранкильи квартиру, обставленную немногочисленной дешевой мебелью, где все, начиная с жильцов, было временным.

И начала изучать право. Она стала моей студенткой в первый год моего преподавания, когда я тоже был новичком; и мы не виделись после окончания этого курса, хотя ходили одними и теми же коридорами, частенько посещали одни и те же студенческие кафе в центре и порой кивали друг другу в «Легисе» или «Темисе», юридических библиотеках, где витал дух государственного учреждения, а на полу лежала бюрократическая белая плитка, пахнувшая моющим средством.

Однажды мартовским вечером мы встретились в кинотеатре на 24-й улице; нам показалось забавным, что мы оба, не сговариваясь, пришли посмотреть старые черно-белые фильмы (шла ретроспектива Бунюэля, в тот вечер показывали «Симеона-пустынника», и через пятнадцать минут я заснул). Мы обменялись телефонами, договорились выпить кофе на следующий день, а когда встретились, то быстро ушли, не допив кофе, потому что обнаружили посреди банальной беседы, что нам не интересно рассказывать друг другу о своей жизни, а хочется немедленно уединиться где-нибудь и переспать, а потом провести остаток дня, разглядывая тела друг друга, которые оба мы украдкой пытались вообразить с тех самых пор, как впервые столкнулись в холодном пространстве аудитории.

Я помню ее хрипловатый голос и выпирающие ключицы; меня удивили веснушки на груди (я представлял себе чистую и гладкую кожу, как на лице), а еще губы: по какой-то необъяснимой с научной точки зрения причине они всегда были холодными.

Но вскоре взаимное изучение, открытия и несовпадения уступили место другому ощущению, возможно, еще более удивительному, потому что такого никто не ожидал.

В последующие дни мы встречались, не зная передышек, и постепенно стали замечать, что наши миры не слишком изменились из-за наших тайных свиданий, что наши отношения не повлияли на практическую сторону нашей жизни ни так ни сяк, но сосуществовали с ней, как параллельная дорога, как история, разворачивающаяся в телесериале. Мы поняли, как мало мы знали друг друга, во всяком случае, это понял я.

Я долго открывал для себя Ауру, странную женщину, которая спала со мной и вдруг начинала сыпать историями, своими или чужими, создавая для меня совершенно новый мир, где в доме ее подруги пахло головной болью, например, или где у головной боли мог оказаться вкус мороженого из гуанабаны¹³. «Похоже на синестезию¹⁴», – говорил я ей. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-нибудь подносил к носу подарок, прежде чем открыть его, даже если это была пара туфель или колечко, самое обычное колечко.

– Чем пахнет кольцо? – спрашивал я Ауру. – Да ничем не пахнет, это факт. Но ведь тебе это не объяснишь.

Так, подозреваю, мы могли бы прожить всю жизнь. Но за пять дней до Рождества Аура появилась у меня на пороге с красным чемоданом на колесиках, у которого была куча накладных карманов со всех сторон.

– Срок уже шесть недель, – сказала она. – Я хочу, чтобы мы вместе провели каникулы, а потом решим, что будем делать.

В одном из этих карманов лежали электронный будильник и сумочка, в которой оказались не карандаши, как я думал, а косметика; в другом – фото родителей Ауры, которые в то время обосновались в Буэнос-Айресе. Она вынула фотографию, положила ее лицом вниз на одну из двух прикроватных тумбочек и перевернула ее, только когда я сказал: да, давай про-

¹³ Гуанабана – «сметанное яблоко», тропический фрукт.

¹⁴ Синестезия – малоизученный феномен восприятия, при котором раздражение одного органа чувств вызывает ощущения, относящиеся к другому органу.

ведем эти каникулы вместе, это хорошая идея. Затем – я вижу эту картинку, как сейчас, – она легла на кровать, на мою застеленную кровать, закрыла глаза и заговорила:

– Люди мне не верят.

Я подумал, что она имела в виду беременность, и спросил:

– Кто? Кому ты сказала?

– Я про родителей, – ответила Аура. – Когда я рассказываю о них, мне никто не верит.

Я лег рядом с ней, положил руки под голову и стал слушать.

– Не верят, например, когда я говорю, что не понимаю, зачем моим родителям понадобилась я, если им хватало друг друга. Им и сейчас хватает. Они самодостаточны, вот в чем дело. У тебя когда-нибудь так было? Вот ты сидишь с родителями и вдруг понимаешь, что ты лишний, что как будто мешаешь им? Со мной это часто бывало, особенно пока я не стала жить одна, и это странно, когда они смотрят друг на друга таким особенным взглядом или помирают со смеху, а ты не знаешь, над чем они смеются, и, что еще хуже, чувствуешь, что не вправе спрашивать, над чем. Я выучила этот взгляд наизусть давным-давно, и это не взгляд заговорщиков, Антонио, это что-то другое. Я не раз видела его в детстве, в Мексике или Чили, не раз. За обедом, с гостями, которые им не нравились, но которых все равно приглашали, или на улице, когда они встречали кого-то, кто говорил глупости, а секунд за пять до этого я чувствовала, что *вот сейчас, сейчас опять будет этот взгляд*, и действительно, через пять секунд их брови поднимались, глаза встречались, и я видела на их лицах улыбку, которую не замечал больше никто, они потешались над всеми этими людьми, и я никогда не видела, чтобы кто-то еще так смеялся над кем-нибудь. Как можно улыбаться без улыбки? Они могли, Антонио, клянусь, я не преувеличиваю, я выросла с этими улыбками. Почему меня это так беспокоило? И почему так беспокоит до сих пор?

В ее словах не было печали, а было раздражение или, скорее, гнев человека, обиженного невниманием или небрежностью, да, именно так, гнев того, кто позволил себя обмануть.

– Я кое-что вспоминаю, – сказала она потом. – Мне было лет четырнадцать или пятнадцать, мы уже собирались уезжать из Мексики. Была пятница, уроки, но я решила прогулять с девчонками, которым было неохота идти на географию или математику. Мы шли через парк Сан-Лоренсо, впрочем, название не имеет значения. И вдруг я увидела человека, очень похожего на моего папу, за рулем какой-то чужой машины. Он остановился на углу, оглядывая улицу, и женщина, очень похожая на маму, села в машину, но она была одета, как мама никогда не одевалась, и у нее были рыжие волосы, не как у мамы. Это произошло по ту сторону парка, им ничего не оставалось, как очень медленно повернуть и проехать прямо перед нами. Не знаю, о чем я думала, но я стала махать им, чтобы они остановились, я была уверена, что это они. Они притормозили, я на тротуаре, машина на проезжей части, и вблизи я сразу увидела, что это они, папа и мама. Я улыбнулась им, спросила, что происходит, и тут начался кошмар: они посмотрели на меня и заговорили так, будто они меня не знают и никогда раньше не видели. Как если бы я была просто чужой девочкой.

Потом я поняла, что они играли. Типа, муж встречается с какой-то дорогой шлюхой. Они играли и не хотели, чтобы я испортила им игру.

А вечером было все как обычно: поужинали, смотрели телевизор, все такое. Они ничего не сказали.

Несколько дней я думала о произошедшем в полной растерянности и испытывала такой страх, которого раньше не знала, но чего тут бояться, разве это не бред?

Она глубоко вздохнула (не разжимая губ) и прошептала:

– А теперь у меня будет ребенок. И я не знаю, готова ли я, Антонио. Не знаю, готова ли я.

– Я думаю, что да, – ответил я.

Насколько я помню, я тоже ответил шепотом. А потом добавил:

– Перевози ко мне вещи, – сказал я. – Мы готовы.

Аура заплакала тихо, но навзрыд, и успокоилась, только когда заснула.

Погода в конце 1995 года была обычной для района саванн – с ярко-синим небом, какое бывает в высокогорье Анд, когда температура по утрам опускается до нуля и сухой воздух выжигает кофейные плантации, зато остаток дня выдается таким солнечным и жарким, что обгорает кожа на затылке и скулах.

Все это время я посвящал себя Аура с постоянством – нет: с одержимостью подростка. Мы целыми днями гуляли по совету доктора и подолгу спали (она), читали скучные исследования (я) или смотрели дома пиратские фильмы, которые на несколько дней опережали редкие официальные премьеры (оба). Вечерами Аура сопровождала меня на предрождественские вечеринки, которые устраивали мои родственники или друзья, мы танцевали и пили безалкогольное пиво, зажигали фейерверки и петарды, запускали салют, который взрывался всеми цветами в желтоватом ночном небе, которое никогда не бывает идеально черным. И ни разу, ни разу я не задался вопросом, что делает сейчас Рикардо Лаверде, молится ли он тоже на предрождественских вечеринках, запускает ли салют, взрывает ли шутихи, делает ли он это один или вместе с кем-то.

Однажды облачным, пасмурным утром после такой вечеринки мы с Аурой прошли первое ультразвуковое обследование. Аура уже была готова отменить его, и я чуть не согласился, но в таком случае нам пришлось бы ждать еще двадцать дней, чтобы получить первое известие от ребенка со всеми вытекающими из этого рисками. Это было не обычное утро, не такое 21 декабря, как любое другое 21 декабря любого другого года: на рассвете все радиостанции, телеканалы и газеты сообщили, что борт 965 компании «Американ Эйрлайнс» из Майами, выполнявший рейс до международного аэропорта имени Альфонсо Бонильи Арагона в городе Кали, разбился накануне ночью на западном склоне горы Эль-Дилувио.

На его борту находились сто пятьдесят пять пассажиров, многие из которых даже не собирались в Кали, а намеревались улететь оттуда последним ночным рейсом в Боготу. На момент выхода новостей было известно только о четверых выживших, все с тяжелыми травмами, и это число останется неизменным. Нам сообщили неизбежные подробности – что это был «Боинг-757», что ночь была ясной и звездной, и в новостях на всех станциях твердили об ошибке пилота. Я сожалел об аварии и со всем сочувствием, на какое был способен, думал о людях, которые собирались провести праздники со своими родными, но, сидя в креслах падающего самолета, вдруг поняли, что ничего этого не будет и они доживают свои последние секунды. Но это мое мимолетное рассеянное сопереживание, конечно же, тотчас же забылась, когда мы вошли в тесный кабинетик, где спустя несколько минут Аура, лежавшая без рубашки, и я, стоявший за ширмой, получили известие, что у нас будет девочка (Аура и раньше каким-то волшебным образом была уверена, что это девочка) и что она, на тот момент размером всего семь миллиметров, абсолютно здорова. На черном экране виднелось что-то вроде светящейся вселенной, неясно мерцающего созвездия, которым, как сказала нам женщина в белом халате, и была наша дочка: островок в море, и каждый из этих семи миллиметров уже был ею. В электрическом свечении экрана я увидел улыбку Ауры, и, думаю, эту улыбку я не забуду, куда жив. Потом она положила палец на живот и размазала синий гель, которым пользовалась медсестра. Затем она поднесла палец к носу, понюхала его и классифицировала в соответствии с правилами своего мира, и это зрелище доставило мне абсурдное удовольствие, как если бы я вдруг нашел на улице золотую монету.

Не помню, чтобы я думал о Рикардо Лаверде там, во время УЗИ, когда мы с Аурой слушали, совершенно ошеломленные, торопливый стук сердца. Не помню, чтобы вспоминал о Рикардо Лаверде, когда мы с Аурой составляли список женских имен прямо на том белом больничном конверте, в котором нам вручили отчет об исследовании. Не помню, чтобы думал о Рикардо Лаверде, когда громко читал вслух, что плод находится внутри матки, что дно матки

приподнято и что наша девочка «правильной овальной формы», над чем Аура громко расхохоталась на весь ресторан.

Не думаю, что я вспоминал о Рикардо Лаверде, когда мысленно перебирал всех знакомых отцов девочек, чтобы попытаться понять, оказывает ли их рождение какое-либо определенное влияние на людей, или мысленно подыскивал воображаемых консультантов, на советы которых можно было бы опереться, потому что уже тогда почувствовал: то, что меня ожидало, было самым ярким, самым таинственным, самым непредсказуемым из всего, что мне предстояло пережить. Сказать по правде, я не помню с уверенностью, какие мысли приходили мне в голову тогда и в последующие дни, когда мир совершал медленный ленивый переход от одного года к другому – кроме мыслей о моем предстоящем отцовстве. Я ждал дочку, в свои двадцать шесть лет я ждал дочку, и в этом юношеском головокружении единственным, о ком я думал, был мой отец, у которого к моим годам уже родились мы с сестрой, и это при том, что первенца мама потеряла. Я тогда еще не знал, что один старый польский писатель давным-давно рассуждал о той разделительной черте¹⁵, за которой молодой человек становится хозяином своей собственной жизни, но это было именно то, что я чувствовал, пока моя маленькая девочка росла в утробе Ауры. Она вот-вот собиралась превратиться в новое неизвестное существо, ее лица я еще не видел, о ее способностях ничего не знал, но уже понимал, что после этой метаморфозы не будет пути назад.

Другими словами, и без особой мифологии: я чувствовал, что что-то очень важное и очень хрупкое свалилось на мои плечи, и не был уверен, что мои способности соответствуют этому вызову. Меня сейчас не удивляет, что в те дни у меня были весьма смутные представления о происходящем вокруг, поскольку моя капризная память лишила всякого смысла и актуальности все, что не было связано с беременностью Ауры.

31 декабря по дороге на новогоднюю вечеринку Аура просматривала список имен, желтую страничку с красными горизонтальными линиями и зелеными полями по бокам, уже полную пометок, подчеркиваний и комментариев на полях, которую мы повсюду таскали с собой и доставали, когда делать было нечего совершенно – в очереди в банке, в залах ожидания или когда застревали в знаменитых пробках Боготы, когда другие читают журналы, или прикидывают, чем могли бы заниматься окружающие их люди, или фантазируют, как могла бы сложиться их собственная жизнь. Из длинной колонки вариантов осталось всего несколько имен, да и те будущая мама, сомневаясь, сопроводила пометками: Мартина (но это имя теннисистки), Карлотта (но это имя императрицы).

Мы двигались по шоссе на север и проезжали как раз под мостом над 100-й улицей, когда впереди случилась авария. Движение транспорта почти полностью прекратилось. Казалось, Ауру все это не волновало, она была полностью поглощена размышлениями об имени нашей девочки.

Откуда-то доносилась сирена скорой помощи; я посмотрел в зеркало, пытаюсь разглядеть красную мигалку, просящую уступить дорогу, но ничего не увидел.

И тут Аура спросила:

– А как тебе Летисия? Кажется, так звали мою прабабушку или еще кого-то из предков.

Я на пробу произнес это имя пару раз, его протяжные гласные, его согласные, в которых слышалась и ранимость, и твердость.

– Летисия, – сказал я. – Да, мне нравится.

¹⁵ Отсылка к повести английского писателя польского происхождения Джозефа Конрада (настоящее имя Теодор Корженевский) «Теневая черта» (1915), описывающей переход от юности к зрелости.

* * *

Итак, в первый рабочий день нового года я вошел в бильярдную на 14-й улице уже совсем другим человеком, и, когда увидел Рикардо Лаверде, очень хорошо помню, что сам удивился своим ощущениям: соперживанию ему и его жене, сеньоре Елене Фритц, и сильному желанию, такому сильному, что я и сам такого от себя не ожидал, чтобы их встреча во время праздников обернулась к лучшему. К моему появлению он уже играл, поэтому я присоединился к компании за другим столом и тоже вступил в игру. Лаверде не смотрел на меня; он вел себя так, словно мы виделись накануне вечером. Я подумал, когда посетители разойдутся, мы закончим день, как обычно. Мы с Рикардо Лаверде поздороваемся, сыграем партию-другую, а затем, надеюсь, возобновим предрождественский разговор. Но все сложилось не так. Когда он закончил играть, то поставил кий к стойке и направился было к выходу, но потом передумал и подошел к столу, за которым я уже тоже заканчивал партию. Кроме испарины на лбу и выражения усталости на лице, в нем не было ничего, что могло бы вызывать у меня беспокойство.

– С Новым годом! – сказал он издалека. – Как прошли праздники?

Но ответить не дал, точнее, прервал мой ответ, что-то в его тоне и жестах заставило меня считать его вопрос риторическим, одним из тех пустых знаков вежливости, которые приняты между жителями Боготы, но не предполагают обстоятельного или искреннего ответа.

Лаверде вытащил из кармана старомодную черную кассету с оранжевой наклейкой и единственным словом «BASF» на ней. Он показал ее, не отрывая руку от тела, как обычно делают продавцы нелегальных товаров, предлагая изумруды на площади или пакетик с наркотиками рядом со зданием суда.

– Яммара, мне надо это послушать, – сказал он. – Вы не знаете, кто мог бы одолжить мне магнитофон?

– У дона Хосе нет магнитофона?

– У него ничего нет, – ответил он. – А это срочно.

И он дважды постучал пальцем по пластику кассеты.

– Кроме того, это личное.

– Есть одно место в паре кварталов отсюда, попробуем, за спрос денег не берут.

Я говорил о Доме поэзии, бывшей резиденции поэта Хосе Асунсьона Сильвы¹⁶, которая теперь стала культурным центром, где проводились чтения и семинары. Я туда частенько захаживал.

Одна из его комнат была уникальным местом: там раненные литературой сидели на мягких кожаных диванах и без устали слушали на довольно современном оборудовании легендарные записи: Борхес голосом Борхеса, Гарсиа Маркес голосом Гарсиа Маркеса, Леон де Грейфф голосом Леона де Грейффа¹⁷. В то время Сильва и его творчество были у всех на слуху, потому что в начавшемся 1996 году отмечалось столетие со дня его самоубийства. «В этом году, – прочитал я в колонке одного известного журналиста, – ему возведут памятники по всему городу, его имя будет на устах у всех политиков, все будут читать наизусть его „Ноктюрн“ и понесут цветы в Дом поэзии.

А Сильве, где бы он ни был, станет любопытно: это трусливое общество, которое его так унижало, тыкало в него пальцем всякий раз, когда подворачивался случай, теперь воздаст ему должное, как если бы он был главой государства.

¹⁶ Хосе Асунсьон Сильва (1865–1896) – колумбийский поэт-романтик, один из крупнейших поэтов, писавших на испанском языке.

¹⁷ Леон де Грейфф (1895–1976) – колумбийский поэт, классик.

Правящему классу нашей страны, фальшивому и лживому, всегда нравилось присваивать культуру. Так будет и с Сильвой: память о нем присвоят. И его настоящие читатели будут целый год гадать, какого черта они не оставят его в покое».

Не исключено, что я вспомнил эту колонку (память о ней хранилась в какой-то темной части сознания, очень глубоко, на складе бесполезных вещей), и потому выбрал это, а не какое-либо другое место, чтобы отвести туда Лаверде.

Мы прошли два квартала, не говоря ни слова, глядя на разбитый асфальт тротуара или на темно-зеленые холмы, которые возвышались вдалеке, оцетинившись эвкалиптовыми деревьями и телефонными столбами, подобно чешуе аризонского ядозуба¹⁸.

Когда мы отворили входную дверь и поднялись по каменным ступеням, Лаверде пропустил меня вперед: он никогда не бывал в подобном месте и действовал с осторожностью зверя, попавшего в опасность.

В диванной сидели два студента и пара подростков, они слушали одну и ту же запись, то и дело посматривали друг на друга и непристойно хихикали, а еще бесстыдно храпевший мужчина в костюме и галстук с выцветшим кожаным портфелем на коленях. Я объяснил ситуацию менеджеру – женщине, которая, несомненно, привыкла и не к такой экзотике. Она, прищурившись, внимательно посмотрела на меня, казалось, узнала завсегдатая и протянула руку.

– Ну-ка, покажите, – без энтузиазма сказала она, – что вы хотите послушать.

Лаверде протянул ей кассету как оружие победителю, и я обратил внимание на его пальцы в пятнах синего мела от бильярда. Послушно, я таким никогда раньше его не видел, он уселся в кресло, на которое указала женщина; надел наушники, откинулся назад и закрыл глаза. Тем временем я искал, чем бы занять минуты ожидания, и моя рука выбрала кассету со стихами Сильвы, хотя могла бы выбрать любую другую (должно быть, я поддался обаянию юбилеев). Я тоже сел в кресло, надел наушники, приладил их поудобнее с намерением отрешиться от реальной жизни и побыть немного в другом измерении. И когда зазвучал «Ноктюрн», когда неизвестный мне голос – баритон, мелодраматично читавший поэзию, как молитву, – произнес первые строчки, которые хоть раз в жизни произносил вслух каждый колумбиец, я увидел, как Рикардо Лаверде заплакал. «*Давней ночью, ночью, полной ароматов*¹⁹, – декламировал баритон под аккомпанемент фортепиано, а в нескольких шагах от меня Рикардо Лаверде, который не слышал стихов, которые слушал я, провел сначала тыльной стороной ладони, затем всем рукавом по глазам, – *полной шепота и плеска птичьих крыльев*». Плечи Рикардо Лаверде вздрагивали; он опустил голову, сложил руки, будто собирался молиться. «*Наши тени – легким, стройным силуэтом, – наши тени, обрисованные белым лунным светом, на равнине беспредельной, сочетались, – продолжал Сильва мелодраматическим баритоном, – и, сливаясь воедино, и, сливаясь воедино, и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной*».

Я не знал, что лучше: смотреть на Лаверде или нет, оставить его наедине с горем или подойти и прямо спросить, в чем дело. Я подумал: может, хотя бы снять наушники, чтобы подать ему знак, пригласить к разговору; но решил сделать наоборот, предпочел безопасность, молчание и меланхолические стихи Сильвы, над которыми можно было печалиться, ничем не рискуя. Я не вспомнил тогда ни о женщине, которую так ждал Лаверде, ни о ее имени, ни даже об аварии на склоне Эль-Дилувио, а остался, где сидел, в кресле и наушниках, стараясь не мешать печали Рикардо Лаверде, и даже закрыл глаза, чтобы не тревожить его своими любопытным взором, оставить наедине с самим собой в этом общественном месте.

В моей голове и только в ней звучала строка Сильвы: «*Стали тенью нераздельной*». В моем самодостаточном мире, заполненном до краев баритоном и поэзией под меланхолические звуки пианино, время потекло медленнее, таким и осталось в памяти. Те, кто любят стихи,

¹⁸ Аризонский ядозуб – ядовитая ящерица с пестрой окраской, обитающая на юге США.

¹⁹ Здесь и ранее стихи Сильвы цитируются в переводе М. Квятковской.

знают, что это случается: время, отмеряемое стихами, точно, как метроном, и при этом растягивается, рассеивается и сбивает нас с толку, как во сне.

Когда я открыл глаза, Лаверде уже не было.

– Куда он делся? – спросил я, не снимая наушников. Мой голос прозвучал издали, и я отреагировал странно: снял наушники и повторил вопрос, как будто менеджер не слышала его с первого раза.

– Кто? – спросила она.

– Мой друг, – сказал я. Я впервые так назвал его и внезапно почувствовал себя смешным: нет, Лаверде мне не друг. – Тот, кто сидел вон там.

– Не знаю, он ничего не сказал, – ответила женщина. Затем она отвернулась, недоверчиво проверила стереосистему, как если бы я что-то от нее требовал, и добавила: – А кассету я ему вернула. Можете сами у него спросить.

Я покинул комнату и быстро обошел здание. Во дворе дома, где Хосе Асунсьон Сильва прожил свои последние дни, находилось ярко освещенное патио, отделенное от обрамляющих его коридоров узкими застекленными окнами, которых не было во времена поэта и которые теперь защищали посетителей от дождя: мои шаги в этих безмолвных коридорах не отзывались эхом. Лаверде не было ни в библиотеке, ни на деревянных скамьях, ни в конференц-зале. Должно быть, он ушел.

Я подошел к узкой двери дома, мимо охранника в коричневой униформе (с фуражкой набекрень, как у киношного бандита), миновал комнату, где сто лет назад поэт выстрелил себе в сердце, а когда вышел на 14-ю улицу, то увидел, что солнце уже спряталось за домами на 7-й улице и робко разгорались желтые фонари. Рикардо Лаверде в длинном пальто шагал, глядя себе под ноги, впереди, в двух кварталах от меня, почти у самой бильярдной.

«*И они стали одной длинной тенью*», – строка нелепо вертелась в моей голове; и в этот самый момент я увидел мотоцикл, стоявший на тротуаре. Может, я обратил на него внимание, потому что его водитель и пассажир сделали едва заметное движение: тот, кто сидел сзади, поставил ноги на подножки и сунул руку за пазуху. Конечно, они оба были в шлемах; защитные стекла у обоих, были, разумеется, темные, такие большие прямоугольные глаза на большой голове.

Я окликнул Лаверде, но не потому, что уже знал, что с ним сейчас что-то случится, и собирался его предупредить: нет, мне просто хотелось догнать его и спросить, все ли у него в порядке, может, предложить ему помощь. Но Лаверде меня не слышал. Я ускорил шаг, оглябая прохожих на узком тротуаре, который был в этом месте высотой в две ладони, переходил, если было необходимо, на проезжую часть, чтобы идти быстрее, и ни о чем не думал. «*И они стали одной длинной тенью*», – повторял я как припев песни, от которой никак не избавишься.

На углу 4-й улицы плотный вечерний транспортный поток медленно полз к съезду с проспекта Хименеса. Я ухитрился перейти на противоположную сторону перед зеленым фургоном, который только что зажег фары, и они осветили уличную пыль, дым из выхлопной трубы и начинавшийся дождик. Вот о чем я думал – о дожде, от которого надо будет скоро где-то укрыться, когда догнал Лаверде или, точнее, приблизился к нему настолько, что увидел, как намокло и потемнело от дождя пальто на его плечах.

– Все будет хорошо, – произнес я глупую фразу, ведь я не знал, что подразумевалось под словом «все», не говоря уж о том, будет оно хорошим или нет. Рикардо посмотрел на меня, его лицо было перекошено болью.

– Там была Елена, – сказал он.

– Где? – не понял я.

– В самолете.

Я на секунду замешкался и представил, что Ауру зовут Елена, или, наоборот, вообразил Елену с лицом и телом беременной Ауры, и испытал новое для себя чувство, которое не

могло быть страхом, но очень его напоминало. Затем я увидел, как по улице едет мотоцикл, по-лошадиному подпрыгивая, как он ускоряется, приближаясь к нам, будто турист, который собирается спросить дорогу; и в тот самый момент я взял Лаверде за руку, схватил его за рукав у левого локтя, увидел головы без лиц, смотревшие на нас, пистолет, направленный в нашу сторону так естественно, как если бы это был металлический протез, увидел две вспышки, услышал выстрелы и внезапно почувствовал, что мне нечем дышать. Я помню, что непроизвольно вскинул руку, чтобы защититься, и вдруг ощутил вес своего тела.

Ноги мои подкосились. Лаверде упал на землю, я упал тоже, оба бесшумно, кто-то закричал, а у меня загудело в ушах. Какой-то мужчина подошел к Лаверде, попытался его поднять, и помню, как я удивился, что еще один бросился помочь мне. «Я в порядке, – кажется, произнес я, – меня не задело». Лежа на земле, я видел, как еще кто-то выбежал на дорогу, размахивая руками, как потерпевший кораблекрушение перед проходящим судном, пытаюсь остановить белый пикап, но тот свернул за угол. Я позвал Рикардо один раз, другой; в животе вдруг стало жарко, я попытался ухватиться за спасительную мысль, что, наверное, обмочился, но сразу понял, что на моей серой футболке совсем не моча. Вскоре я потерял сознание, но последнее, что увидел, помню достаточно ясно: несколько человек с трудом поднимают мое тело и укладывают в кузов грузовика рядом с Лаверде, мы лежим рядом, как две тени, в луже крови, которая в тот час и при таком тусклом свете была черной, как ночное небо.

II. Он никогда не будет одним из моих мертвых

Я знаю, хотя и не помню, что пуля прошла мой живот, не задев внутренние органы, но повредила нервы и сухожилия и наконец застряла в бедре, не долетев нескольких сантиметров до позвоночника. Кровопотеря была существенной, и, хотя у меня довольно распространенная группа крови, ее запасы в больнице Сан-Хосе тогда оказались невелики, или вдруг резко вырос спрос на нее у населения беспокойной Боготы, и моему отцу и сестре пришлось сдавать свою, чтобы спасти мне жизнь. Я знаю, что мне повезло. Все только и говорили об этом, но я и без них откуда-то это знал. Мне повезло, и это было едва ли не первое, о чем я подумал, когда ко мне вернулось сознание, уж это я помню отлично.

А вот трех дней в хирургическом отделении не помню совсем: они полностью исчезли, стерлись анестезией. Не помню галлюцинаций, хотя они были; не помню, как свалился с кровати во время одной из них и, хотя в памяти не зацепилось, как меня привязывали, чтобы это снова не повторилось, хорошо помню жестокую клаустрофобию, ужасное чувство беспомощности.

Помню жар, помню, как обливался потом по ночам, из-за этого медсестрам то и дело приходилось менять простыни; помню, как повредил горло и порвал уголки губ, когда однажды попытался вырвать трубку аппарата искусственной вентиляции легких; помню звук собственного крика и знаю, хотя этого и не помню, что мои крики раздражали других больных. Они или их родственники пожаловались, медсестры в конце концов перевели меня в другую палату, вот там-то, в этой новой палате, ненадолго придя в сознание, я и спросил о судьбе Рикардо Лаверде и узнал (не помню, от кого), что он умер.

Не думаю, что я огорчился, а может, я все время путаю сожаление, вызванное печальной вестью, со слезами от боли, но так или иначе, там, в больнице, пытаюсь выжить, понимая серьезность своего положения по озабоченным глазам окружающих, я вряд ли много думал о погибшем. Во всяком случае, не помню, чтобы я винил его в том, что со мной случилось.

Это пришло потом. Я проклял Рикардо Лаверде, проклял нашу встречу и ни секунды не сомневался, что именно Лаверде виноват в моем несчастье. Я даже был рад, что он умер, я надеялся, что его смерть была мучительной – в отместку за мою боль. В тумане беспометства я отвечал на вопросы родителей односложно. Вы познакомились с ним в бильярдной? Да. Ты не знал, чем он занимался, в чем был замешан? Нет. Почему они убили его? Не знаю. Почему они убили его, Антонио? Не знаю, не знаю. Антонио, за что его убили? Я не знаю, не знаю, не знаю. Вопрос повторялся настойчиво, я всегда отвечал одинаково, и вскоре стало ясно, что вопрос не нуждался в ответе: это было скорее сожалением о случившемся.

В тот же вечер, когда застрелили Рикардо Лаверде, в разных районах города и разными методами были совершены еще шестнадцать убийств, у меня в памяти остались таксист Неф-тали Гутьеррес, которому раскроили череп гаечным ключом, и автомеханик Хайро Алехандро Ниньо, получивший девять ударов мачете на пустыре в западной части города. Лаверде был всего лишь одним из многих, и глупо и наивно было бы полагать, что мы могли рассчитывать на роскошь узнать правду.

– Но что он мог сделать такого, чтобы его убили? – спрашивал меня отец.

– Не знаю, – отвечал я. – Ничего не сделал.

– Наверняка что-то натворил.

– Теперь уж какая разница, – говорила мама.

– Ну да, – соглашался отец. – Теперь уже никакой.

По мере того, как я выбирался на поверхность, ненависть к Лаверде сменялась ненавистью к моему собственному телу и его ощущениям. Но, возненавидев себя самого, я вознена-

видел и других, и одним прекрасным днем решил, что не хочу никого видеть, и выгнал своих близких из больницы, запретив им видеться со мной, пока мне не станет лучше.

– Но мы волнуемся, – возразила мама. – Мы хотим заботиться о тебе.

– А я нет. Я не хочу, чтобы ты обо мне заботилась, я вообще не хочу, чтобы обо мне заботились. Хочу, чтобы вы ушли.

– Но вдруг тебе что-то понадобится? Мы могли бы помочь, а нас не будет рядом.

– Ничего не нужно. Мне нужно побыть одному. Я хочу побыть один.

«Хочу вкусить тишины», – подумалось мне: это строка Леона де Грейффа, еще одного поэта, которого я раньше слушал в доме Сильвы, стихи догоняют нас в самые неожиданные моменты. «*Я хочу вкусить тишины, и ни в ком не нуждаюсь*». Оставьте меня в покое. Да, именно это я и сказал своим родителям: оставьте меня в покое.

Пришел врач, чтобы объяснить, как пользоваться системой, к которой я был подключен: когда почувствуете слишком сильную боль, сказал он, нужно нажать на кнопку, и от укола морфина сразу же станет легче. Но не все так просто. В первый же день я за несколько часов израсходовал свою суточную дозу (я нажимал кнопку, как ребенок в видеоигре), а воспоминание о том, что было потом, больше всего похоже на ад. Рассказываю об этом, потому что так, в бреду от боли и морфина, проходило мое выздоровление. Я то и дело засыпал без видимой причины, как узник в сказках; открывал глаза и обнаруживал себя в странном пространстве, и, что самое интересное, оно было мне незнакомо, и всегда казалось, что я вижу его впервые.

В какой-то момент, не могу уточнить, в какой, в этом пространстве появилась Аура, она сидела на коричневом диване, когда я открыл глаза, и смотрела на меня с искренней жалостью. Это было что-то новое (точнее, новым было то, что смотрела и переживала обо мне женщина, которая ждала моего ребенка), но я не уверен, что тогда подумал об этом.

А вот ночи, их я помню. В последние дни в больнице у меня появился страх темноты, и исчезнет он только через год: в шесть тридцать вечера, когда на Боготу внезапно опускается ночь, мое сердце начинало бешено колотиться, и потребовались героические усилия нескольких врачей, чтобы убедить меня, что я не умру от инфаркта.

Долгая ночь, которая в Боготе всегда длится больше одиннадцати часов, независимо от времени года и уж тем более от душевного состояния тех, кто страдает от нее, – была для меня почти невыносимой в больнице, где в белых коридорах всегда светло, а полумрак белых палат едва нарушали неоновые лампы; а вот в моей спальне дома темнота была кромешной, потому что уличный свет не добирался до десятого этажа, и ужас, который я ощущал, представляя себя просыпающимся в потемках, заставлял меня засыпать с включенной лампой, как в детстве.

Аура переносила эту ночную иллюминацию лучше, чем я мог предположить, иногда пользовалась масками, какие раздают в самолетах для сна, порой сдавалась и включала телевизор, ее забавляли передачи вроде «Магазина на диване», ей нравилась реклама чудо-машинок для шинковки овощей и фруктов или чудо-лосьонов, которые способны растворить весь жир в теле. Ее собственное тело, конечно, менялось; внутри нее росла девочка по имени Летисия, а я не мог уделить ей должного внимания. Я то и дело просыпался от абсурдного кошмара: как будто я вернулся жить к родителям, но уже с Аурой, и вдруг взрывалась газовая плита, вся семья погибала, я видел это и ничего не мог сделать. Когда бы это ни происходило, я звонил домой, чтобы убедиться, что на самом деле ничего не случилось и это только сон. Аура пыталась меня успокоить. Она смотрела на меня, я чувствовал это. «Все хорошо», – говорил я. И только на исходе ночи мне удавалось заснуть на несколько часов, свернувшись клубочком, как собаке, напуганной фейерверком, и для меня оставалось загадкой, почему это Летисии нет во сне, что сделала Летисия, чтобы ее изгнали оттуда.

В моей памяти последующие месяцы стали временем сильных страхов и мелких неудобств. На улице у меня возникала твердая уверенность, будто за мной наблюдают; раны вынудили меня несколько месяцев пользоваться костылями. В левой ноге появилась боль –

раньше я ничего подобного не испытывал, – как при приступе аппендицита. Врачи объясняли, что на восстановление нервов уйдет немало времени, я слушал их, не понимая, или не понимал, что они говорили обо мне; в то же самое время в другом месте Аура слушала объяснения других врачей совсем по другим темам, принимала фолиевую кислоту и получала инъекции кортизона, чтобы легкие ребенка формировались правильно (в семье Ауры были случаи преждевременных родов). Ее живот рос, но я этого не замечал. Аура брала мою руку, прижимала к своему животу рядом с выступающим пупком. «Вот-вот. Чувствуешь?» «Что именно?» – спрашивал я. «Ну, это как бабочка, как крылья, которые касаются твоей кожи. Не знаю, понимаешь ли ты меня». Я говорил, что да, я понимаю ее прекрасно, хотя это было ложью.

Я ничего не чувствовал, меня отвлекал страх: я представлял себе лица убийц, скрытые за забралами шлемов; грохот выстрелов и непрерывный гул в барабанных перепонках; внезапно хлынувшую кровь. Даже сейчас, когда я пишу эти строки и вспоминаю все это, меня наполняет ужас. На тарабарском языке психотерапевта, к которому я ходил поначалу, это называлось посттравматическим стрессом и, по его словам, было во многом связано со взрывами, которые все мы пережили несколько лет назад. «Так что не переживайте, если у вас проблемы в интимной жизни», – сказал он (так и сказал: *в интимной жизни*). На это я ничего не ответил. «Тело борется с серьезной угрозой, – продолжал доктор. – Оно концентрируется на этой задаче и стремится устранить все лишнее. Либи́до – первое, что уходит, понимаете? Так что не переживайте. Дисфункция – это нормально». Я опять не ответил. *Дисфункция* – это слово звучало некрасиво, мне показалось, его звуки враждуют, портят окружающую среду, и я решил, что не буду обсуждать это с Аурой. Доктор продолжал говорить, остановить его было невозможно. Он сказал, что страхи – главная болезнь жителей Боготы моего поколения. Что в моей ситуации нет ничего особенного: со временем это пройдет, как проходило у всех, кто побывал в его кабинете. Вот что он говорил. Он так и не понял, что меня не интересовало рациональное объяснение (не говоря уж о статистическом аспекте), отчего мое сердце так колотилось и меня прошибал холодный пот, что, возможно, в другом контексте и выглядело бы комично. Я ждал только волшебного слова, чтобы пот и сердцебиение исчезли; мне нужна была мантра, которая поможет мне просто заснуть.

Я привык к распорядку совы: когда шум или иллюзия шума прогоняли сон (и оставляли меня на милость болей в ноге), я брал костыли, шел в гостиную, садился в кресло-качалку и сидел, наблюдая за движением ночи на холмах Боготы, за зелеными и красными огнями самолетов, которые виднелись при ясном небе, за каплями росы, которые скапливались на окнах, как белая тень, когда на рассвете становилось прохладнее. Но испорчены были не только мои ночи, но и мои дни.

Прошло уже несколько месяцев после смерти Лаверде, но по-прежнему достаточно было резкого автомобильного выхлопа или громкого стука двери, и даже упавшей книги, чтобы вызвать у меня паническую атаку. В любой момент, без всякой видимой причины, я мог безутешно заплакать.

Слезы накатывали без предупреждения: за обеденным столом, перед моими родителями или Аурой, или в компании друзей, и к ощущению, что я болен, присоединялся стыд. Вначале всегда находился кто-то, кто бросался меня обнимать и утешать, как ребенка: «Все уже позади, Антонио, все закончилось». Со временем люди, мои близкие, привыкли к этой внезапной слезливости, слова утешения у них иссякли, объятия прекратились, и тогда стыд стал еще сильнее, потому что было очевидно: вместо того, чтобы вызывать у них жалость, я стал смешон.

С люди незнакомыми, от которых не приходилось ждать ни преданности, ни сострадания, было еще хуже. На одной из первых лекций, которые я провел после выздоровления, студент задал мне вопрос о теории Рудольфа фон Иеринга²⁰.

²⁰ Рудольф фон Иеринг (1818–1892) – немецкий правовед, основоположник «юриспруденции интересов».

– У правосудия, – начал я, – двойная эволюционная основа: борьба индивида за обеспечение своего права и борьба государства за установление необходимого порядка среди граждан.

– Означает ли это, – спросил студент, – что человек, который реагирует на угрозу или оскорбление, является истинным творцом закона?

Я собирался рассказать о тех временах, когда законы были связаны с религией, тех далеких временах, когда различия между моралью, гигиеной, общественным и частным еще не было, но не смог. Я закрыл глаза галстуком и заплакал. Лекцию пришлось прервать. Уходя, я услышал, как студент сказал:

– Бедный парень. Ему не выбраться.

И не раз еще я слышал этот диагноз. Однажды Аура поздно вернулась со встречи с подружками, в нашем городе такие вечеринки называют по-английски «baby shower» – ливень подарков для будущей мамы. Она вошла осторожно, чтобы, без сомнения, не нарушить мой сон, но я не спал и писал заметку о том самом Рудольфе фон Иеринге, который стал причиной очередного кризиса.

– Почему бы тебе не попытаться уснуть? – не столько спросила, сколько попросила она.

– Я работаю, – сказал я, – пойду спать, когда закончу.

Она сняла тонкое пальто (нет, не пальто, это был плащ), повесила его на спинку плетеного стула, прислонилась к дверному косяку, одной рукой поддерживая свой огромный живот, а другой пригладила волосы, – тщательно продуманная прелюдия, к которой прибегают, когда не хотят говорить то, что собираются сказать, и ожидают, что какое-нибудь чудо освободит их от этой обязанности.

– Они нас обсуждают, – сказала Аура.

– Кто?

– В университете. Все обсуждают – люди, студенты.

– И преподаватели?

– Не знаю. По крайней мере, студенты. Иди спать, я тебе все расскажу.

– Не сейчас, – ответил я. – Завтра. Мне надо закончить работу.

– Но уже за полночь, – сказала Аура. – Мы оба устали. Ты устал.

– У меня еще есть работа. Мне нужно подготовиться к лекции.

– Но ты устал. И ты не спишь, а не спать – не лучший способ подготовки к лекции.

Она помолчала, разглядывая меня в желтом освещении столовой, и сказала:

– Ты сегодня не выходил, правда?

Я не ответил.

– И не принимал душ, – продолжала она. – Ты даже не оделся за целый день, ты весь день проторчал здесь. Мне говорят, ты изменился после покушения, Антонио, а я отвечаю – конечно, он изменился, не говорите глупости, как это может не повлиять на человека? Но мне не нравится то, что я вижу, если уж говорить откровенно.

– Ну и не говори, – огрызнулся я. – Никто тебя не просил.

На этом разговор мог бы закончиться, но Аура кое о чем догадалась, у нее было лицо человека, который только что кое о чем догадался, я видел это, и задала мне один-единственный вопрос:

– Ты ждал меня?

Я опять не ответил.

– Ты ждал меня? – настаивала она. – Беспокоился?

– Я готовился к уроку, – ответил я, глядя ей в глаза. – Что, теперь и это нельзя?

– Ты волновался, – сказала она. – Из-за этого и не ложился. – И добавила: – Антонио, Богота – не горячая точка. Может, пули кое-где и летают, но это не значит, что застрелят каждого.

Ты ничего не знаешь, хотел возразить я, ты выросла не здесь. Нам не понять друг друга, хотел я добавить, и ты никогда не поймешь, никто не сможет тебе это объяснить, и я не смогу. Но эти слова так и остались на языке.

– Никто и не говорит, что застрелят, – сказал я вместо этого. И сам удивился, как громко получилось, ведь я не собирался повышать тон. – Никто за тебя не волновался. Никто и не думал, что ты можешь погибнуть от бомбы вроде той, которая взорвалась у «Трех слонов», или той, которая разворотила здание АДБ²¹, потому что ты ведь не работаешь в АДБ, или от бомбы, которую подложили в торговый центр «93», ты ведь никогда там ничего не покупаешь. И к тому же та эпоха уже прошла, правда? Так что никто не и думал, что это может коснуться тебя, Аура, мы были бы занудами, если бы так думали, а мы ведь не такие, правда?

– Не заводись, – сказала Аура. – Я...

– Я готовлюсь к лекции, – перебил я ее, – отнесись к этому с уважением, разве я слишком много прошу? Вместо того чтобы крутить мне яйца в два часа ночи, не будет ли с моей стороны чрезмерным попросить тебя лечь спать и не трахать мне мозги, и может, тогда я закончу эту гребаную хрень?

Насколько я помню, она не пошла тогда сразу в спальню, а сначала направилась в кухню, и я слышал, как дважды хлопнула дверца холодильника, а потом шкафа – там были дверцы, которые закрываются почти сами, стоит их чуть подтолкнуть. И в этих бытовых звуках (по ним я мог следить за движениями Ауры, представляя их одно за другим) была какая-то неприятная фамиллярность, раздражающая бесцеремонность, как если бы Аура не заботилась обо мне неделями и не пеклась о моем выздоровлении, а вторглась в мою жизнь без какого-либо на то разрешения. Я видел, как она вышла из кухни со стаканом в руке: в нем была темная жидкость, один из тех газированных напитков, которые ей нравились, а мне нет.

– Знаешь, сколько она весит? – спросила она.

– Кто?

– Летисия. Мне сказали, девочка просто огромная. Если она не родится через неделю, придется делать кесарево.

– Через неделю, – повторил я.

– Анализы хорошие, – сказала Аура.

– Отлично.

– Так ты не хочешь узнать, сколько она весит?

– Кто? – переспросил я.

Я помню, она неподвижно стояла посреди гостиной, на одинаковом расстоянии от кухонной двери и от входа в коридор, как на ничейной полосе.

– Антонио, – сказала она, – нет ничего плохого в том, чтобы волноваться. Но меня от тебя уже тошнит. Ты болен беспокойством. И из-за этого уже я начинаю беспокоиться.

Она поставила стакан газировки на обеденный стол и заперлась в ванной. Я слышал, как она открыла кран, наполняя ванну; представил, как она плачет, пряча рыдания за шумом воды.

Когда я наконец отправился в кровать, Аура все еще оставалась в ванной, в мире неведомости и счастья, где ее живот не был такой тяжелой ношей. Я заснул, не дождавшись ее, а на следующий день ушел, когда она еще спала. Признаться, я подумал, что Аура на самом деле не спала, а делала вид, чтобы не прощаться. Думаю, она меня тогда ненавидела, и, боюсь, она имела на это право.

Я приехал в университет за несколько минут до семи. Ночь еще давила на глаза и плечи, я чувствовал себя не выспавшимся. Обычно я ждал студентов у входа в аудиторию, облокотившись на каменные перила бывшего монастыря, и входил, только когда становилось понятно,

²¹ АДБ (DAS – Departamento Administrativo de Seguridad), Административный департамент безопасности – специальная служба Колумбии, аналог американского ФБР.

что большинство из них уже на месте; тем же утром, возможно, из-за ломоты в пояснице, а может, потому что костыли у сидящего менее заметны, я решил зайти и подождать сидя. Но я даже подойти к стулу не успел: мое внимание привлек рисунок на доске, и, повернувшись, я увидел там карикатурную парочку в непристойной позе. Его пенис был размером с руку; у нее не было лица, просто круг мелом в обрамлении длинных волос. Под рисунком печатными буквами было написано: «Профессор Яммара знакомит ее с правом».

У меня закружилась голова, но, думаю, никто этого не заметил. «Кто это сделал?» – спросил я тише, чем собирался. Лица студентов оставались бесстрастны: они лишились всякого содержания; были меловыми кружками, как у той женщины на доске. Я направился к лестнице так быстро, как только позволяла моя хромота, и к тому моменту, когда начал спускаться по ступеням и миновал портрет мудреца Кальдаса²², уже потерял контроль над собой.

По легенде, Кальдас, один из героев нашей независимости, спускаясь по этой самой лестнице на эшафот, наклонился, поднял уголек, и его палачи увидели, как он нарисовал на штукатурке перечеркнутый овал: длинная рассеченная буква «О». Я прошел мимо этого невероятного, абсурдного и несомненно апокрифического иероглифа с бешено бьющимся сердцем. Руки мои, бледные и потные, плотно сжимали перекладины костылей. Галстук душил меня. Я вышел из университета и, не разбирая улиц, не замечая людей, которых задевал, шагал, пока у меня не заболели руки.

На северном углу парка Сантандер уличный мим, который торчит там всегда, увязался за мной, передразнивая мою неловкую походку и неуклюжие движения, даже мою одышку. На нем было черное трико на пуговицах, лицо полностью выбелено, и он так талантливо размахивал руками, что мои костыли показались неуместными даже мне самому. И когда этот хороший неудачливый актер передразнивал меня, вызывая улыбки прохожих, я впервые подумал, что моя жизнь рушится и что Летисия, невинное дитя, выбрала худшее время, чтобы появиться на свет.

Летисия родилась августовским утром. Мы провели ночь в клинике, в палате, готовясь к операции, – Аура в постели, я на диванчике для родственников – и было какое-то жуткое ощущение, что мы все перепутали – и место, и время. Когда медсестры пришли забирать ее, Аура была уже под действием лекарств, и последнее, что она сказала мне, было: «Я думаю, это была перчатка О. Джея Симпсона²³».

Мне хотелось держать ее за руку, все время держать ее за руку, я сказал ей об этом, но она уже была без сознания. Я провожал ее по коридорам и лифтам, а медсестры говорили мне: папа, успокойтесь, все будет хорошо, а я спрашивал себя, какое право они имеют называть меня папой, а тем более высказывать свое мнение о будущем. Затем, когда мы дошли до огромных распашных дверей операционной, меня отвели в комнату ожидания с тремя стульями и журнальным столиком. Костыли я оставил в углу, рядом с фото или, точнее, с плакатом, с которого беззубо улыбался розовый ребенок, обнимающий огромный подсолнух на фоне голубого неба.

Я открыл какой-то старый журнал, пытался отвлечься кроссвордом: *место, где молотят зерно. Брат Онана. Медлительные люди, в том числе те, кто ведет себя так нарочно.* Но думать я мог только о женщине под наркозом в операционной, о скальпеле, который резал ее кожу и плоть, о руках в перчатках, которые вторгались в ее тело, чтобы вытащить оттуда мою дочь. *Пусть эти руки будут осторожными и ловкими, думал я, пусть не касаются того, чего касаться не нужно. Не бойся, Летисия, они не причинят тебе вреда, тебе нечего бояться. Я*

²² Франсиско Хосе де Кальдас (1768–1816) – колумбийский юрист, инженер, натуралист, математик, географ и изобретатель, расстрелянный испанцами. За обширные познания сограждане прозвали его Мудрецом.

²³ Ориентал Джеймс Симпсон (род. 1947) – игрок американского футбола и киноактер. Обвинялся в убийстве жены и ее любовника, линия обвинения строилась в том числе на найденных на месте преступления перчатках, якобы принадлежавших Симпсону.

так и стоял, и тут зашел молодой человек и, не снимая маски, сказал: «Ваши две принцессы в полном порядке».

Я не даже заметил, когда встал со стула, и у меня от усталости уже болела нога, поэтому я снова сел. Закрыв лицо руками, потому что никто не любит, когда его видят плачущим. *Медлительные люди*, вспомнил я, *в том числе те, кто ведет себя так нарочно*. Потом я увидел Летисию в какой-то голубоватой полупрозрачной ванночке, спящую, завернутую в белую пленку. Малышка даже издали казалась теплой. И снова вспомнил эту дурацкую фразу.

Я сосредоточился на Летисии. С этого расстояния были видны ее глаза без ресниц, самый маленький рот, какой я когда-либо видел, и я пожалел, что они уложили ее, спрятав руки, в тот момент для меня почему-то не было ничего важнее, чем увидеть руки моей дочери. Я знал, что никогда никого не полюблю так, как любил тогда Летисию, что никто и никогда не станет для меня тем, кем была эта совершенно незнакомая, только что прибывшая в мир девочка.

Никогда больше я не возвращался на 14-ю улицу, не говоря уже о бильярдной (я вообще перестал играть: если я слишком долго стоял на ногах, боль усиливалась и становилась невыносимой). Так я потерял часть моего города; или, точнее сказать, ее у меня украли.

Я представил себе город, где улицы и тротуары постепенно сближаются, как комнаты в рассказе Кортасара, и в конце концов для нас просто не остается места. «У нас все хорошо, мало-помалу мы научились жить, не задумываясь, – говорит персонаж этой истории, когда нечто таинственное занимает другую половину дома. И добавляет: – Можно жить и не думая». Это правда: можно.

После того, как у меня украли 14-ю улицу, – а еще после долгого лечения, постоянных головокружений и болей в желудке, разрушенном лекарствами, – я возненавидел город, стал бояться его, чувствовать его угрозу. Мир казался мне недоступным, а моя жизнь – жизнью за стеной; врач говорил со мной о моих страхах выйти на улицу, он упомянул слово «агорафобия», как будто это был хрупкий предмет, который нельзя ронять, а мне было трудно объяснить ему, что все как раз наоборот, что сильнейшая клаустрофобия – вот что меня мучило.

Однажды на очередной встрече, о которой я только это и помню, этот врач посоветовал мне терапию, которая, по его словам, хорошо сработала для нескольких его пациентов.

– Вы ведете дневник, Антонио?

Я сказал, что нет, дневники всегда казались мне нелепостью, тщеславием или анахронизмом: все эти их выдумки о том, что наша жизнь будто бы имеет значение. Он ответил:

– Так начните. Я говорю не о настоящем дневнике, а о блокноте, чтобы задавать себе вопросы.

– Вопросы, – повторил я. – Какие, например?

– Например, какие опасности есть в Бооте на самом деле. Каковы шансы, что случившееся с вами повторится снова. Если хотите, я дам вам кое-какую статистику. Вопросы, Антонио, вопросы. Почему с вами случилось то, что случилось, чья в этом вина, чья-то или ваша. Могло бы это произойти в какой-то другой стране. Или в другое время. Имеют ли смысл сами эти вопросы. Важно отличать уместные вопросы от дурацких, Антонио, и один из способов сделать это – задать их в письменной форме. Когда вы решите, какие из них уместные, а какие дурацкие, на которые и ответов-то нет, задайте себе другие вопросы: как вылечиться, как все забыть, не обманывая себя, как вернуться к жизни и ладить с теми, кто вас любит. Как жить без страха или с разумной его дозой, которая есть у всех. Что сделать, чтобы двигаться вперед, Антонио. Конечно, о многом таком вы уже думали, но совсем другое дело, когда вы видите эти вопросы на бумаге. Дневник. Попробуйте вести его дней пятнадцать, тогда и поговорим.

Это показалось мне идиотской рекомендацией, больше похожей на книжки в духе «помоги себе сам», чем на совет профессионала с сединой на висках, с именными бланками на столе и дипломами на разных языках, висящими на стенах. Я, конечно, не сказал ему об

этом, да и не было необходимости, потому что он сразу же встал и направился к книжным полкам (однотипные тома в твердых переплетах, семейные фотографии, детский рисунок в рамке, неразборчиво подписанный).

– Ничего этого, конечно, вы делать не будете, – приговаривал он, открывая ящик. – Все, что я говорю, вам кажется глупостью. Что ж, может и так. Но сделайте одолжение, возьмите вот это.

Он достал тетрадь на спирали, такую же, какой я пользовался в школе, с той же нелепой обложкой, имитирующей джинсовую ткань; вырвал пять-шесть первых страниц, просмотрел последнюю, чтобы убедиться, что и там ничего нет; протянул мне, точнее положил на стол прямо передо мной. Я взял тетрадку и, чтобы чем-то себя занять, открыл ее и перелистал, как если бы это был роман.

Это был блокнот в клетку: я всегда ненавидел блокноты в клетку. На первой странице виднелись продавленные отметины от написанного на вырванной странице, эти призраки слов. Дата, что-то подчеркнутое, буква «И».

– Спасибо, – сказал я и ушел.

Тем же вечером, несмотря на скепсис, который изначально вызывала у меня эта стратегия, я заперся в спальне, открыл блокнот и написал: «Дорогой дневник!» Сарказм повис в пустоте. Я перевернул страницу и попытался начать.

На большее меня не хватило. Так, с занесенной над бумагой ручкой и взглядом, устремленным в бесконечность, я просидел несколько долгих секунд. Аура, которая всю неделю страдала от легкой, но досадной простуды, спала с открытым ртом. Я посмотрел на нее, попытался описать ее черты, но потерпел неудачу. Я мысленно провел инвентаризацию наших планов на следующий день: мы собирались сходить с Летисией на прививку. Сейчас девочка мирно сопела рядом с нами в колыбельке. Затем я закрыл блокнот, положил на тумбочку и выключил свет.

На улице, где-то в глубине ночи, лаяла собака.

* * *

Однажды в 1998 году, вскоре после завершения чемпионата мира по футболу во Франции и незадолго до того, как Летисии исполнился год, я ждал такси неподалеку от Национального парка. Не помню, откуда я ехал, но точно направлялся на север, на одно из тех многочисленных обследований, с помощью которых врачи пытались меня успокоить и убедить, что выздоровление идет нормальными темпами и скоро моя нога станет не хуже, чем до ранения. Такси на север не было, напротив, они то и дело проезжали в центр. Мне нечего было делать в центре, мелькнула нелепая мысль, я там ничего не потерял. А потом подумал: как раз там-то я все и потерял. Не раздумывая дважды, я проявил личное мужество, которого не поймут те, кто не побывал в моих обстоятельствах: я перешел улицу и сел в первое подъехавшее такси.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.